

НОВАЯ ПРОЗА

БЕЗ ПУТИ-СЛЕДА

Денис Гуцко



издательский дом

Выбор Сенчина



Денис Гуцко

Без пути-следа. Роман

«Издательские решения»

Гуцко Д.

Без пути-следа. Роман / Д. Гуцко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-852792-0

Роман «Без пути-следа» о русском парне, родившемся и выросшем в Грузинской ССР, который пытается в 90-е годы получить российское гражданство. Произведение было удостоено премии «Букер — Открытая Россия», но появились и отрицательные отзывы — автора ругали за растянутость; не понравились и «мелкие, безвольные, слабые» герои. И Гуцко, видимо, поддавшись на эту критику, значительно сократил роман, сделав его частью книги «Русскоговорящий». Лишь теперь читатель может познакомиться с романом целиком.

ISBN 978-5-44-852792-0

© Гуцко Д.
© Издательские решения

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	13
Глава 3	22
Глава 4	41
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Без пути-следа

Роман

Денис Гуцко

© Денис Гуцко, 2017

ISBN 978-5-4485-2792-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1

Бубны бубнили. Бубны бубнили грозные заклинания, наполнявшие его трусливым холодком от горла до копчика. Прогорклый воздух дрожал в такт, по векам текли быстрые тени. И если б он мог вырваться! Нечто мохнатое, похожее на бородатое ухо, плавало перед его лицом. Он пробовал широко распахнуть глаза, взглядеться, но тщетно. Сквозь ресницы сочились все те же тени, продирались все те же тени. Чем все это закончится, черт возьми? Он тонул. Его мучила жажда. Вокруг вились костры, костры, костры. В черных грудях на границе света и тьмы угадывались трупы животных. В узловатых пальцах шаманов дергались, бубнили бубны. Кто-то наклонялся и спрашивал, хочет ли он пить, но, не дождавшись ответа, исчезал. Вновь перед ним проплывало бородатое ухо, уродливый волосатый тотем. Ощущение опасности было прилипчиво, как пыль в жару. Страх вырастал из ниоткуда, из горького воздуха, обвивал и опутывал, всасывался в кровь и лишал сил. Тени, приближаясь, смыкались плечом к плечу. Тени сливались. Бежать бы, но он, кажется, связан. И бубны бубнят все злее. Хочется кричать: «Хватит, боюсь!..»

...Митя хлопнул ладонью по столу, опрокинув взорвавшуюся серым облаком пепельницу, и проснулся. Наваждение кончилось, порвалось школьной промокашкой, изрисованной чертиками, он разлепил веки и вывалился в тусклую шумную забегаловку с заплыванным полом.

– Пить будешь?

– Буду.

Грязно. Голубь жметя к заплаканному стеклу.

На барной стойке перетянутая синей изолянтной поперек всего корпуса магнитола. Из пластмассовых дуршлагов колонок льются только басы, напористый бубнящий ритм.

Жирная тряпка упала возле стакана. Рука старой женщины. Кольцо врезалось в плоть. Еле успел отдернуть свои. Два движения, быстрые и размашистые. После тряпки, как после слизня, блестит мокрый белесый след. Тряпка падает на следующий стол.

Голубь жметя к стеклу, прячет стеклянный глаз в перья. Дождевая стеклянная пыль укрывает его безголовое, похожее на дирижабль тело. Наверное, болен. Нет зрелища мучительней больной птицы.

Напротив – волосатое ухо... бородатое ухо.

– Слушай, вождь, здесь как-то душно. И... Где твой лук, колчан и стрелы?

Гайавата не реагировал. Видимо, Митя больше не вызывал в нем симпатии. Но Мите сегодня не хотелось подстраиваться. Он разрешил себе сорваться. Хоп! – сорвался человек, летит. Разрешил себе быть самим собой: делай что хочешь, заодно узнаешь, чего тебе хочется. Однако странное дело – для того, чтобы быть собой, недоставало подходящей компании: никак не удавалось измерить, стал ли он уже самим собой или нет.

– Наливай!

Гайавата разливал и отворачивался, на всякий случай касаясь своей рюмки толстым выпуклым ногтем. Митя смотрел в красный профиль вождя – точнее, в его ухо – с любопытством молодого путешественника, поборовшего гадливость в отношении к туземцам. Собственно, только из-за этих удивительных ушей Митя и усадил его за свой столик.

Он не мог взять в толк, для чего столь тщательно – как кусты в английском парке – стричь бакенбарды, если из ушей растут такие метелки, такие шерстяные фонтаны... Волосы были седые. Волосы были сантиметров в пять длиной. Волосы выходили из ушей толстыми пучками, загибались книзу и, мягко распушившись, ложились на бакенбарды. Наверное, по утрам он их расчесывал. Разглядев профиль индейца, увенчанного перьями, трубку мира и надпись «The

True American» на его футболке, надетой под пиджак, Митя улыбнулся. Сразу понял: Гайавата – и перешел на верлибр.

Взвизгнула входная дверь. Вошли бритоголовые.

– Вернулись, – буркнул Гайавата.

– Знай же, друг мой краснокожий, – говорил Митя, энергично дирижируя не прикуреной сигаретой, – все дерьмово в этом мире. Мудрый Ворон нас покинул. К предкам, сволочь, улетел. Мы, эээ, мертвы с тобой сегодня. Мудрый Ворон, чтоб ты лопнул. Я ругаю тебя матом, Мудрый Ворон, кар-кар-кар!

На Митино «кар-кар-кар» обернулись бритоголовые.

– Водка паленая, – сказал Гайавата в стол. – Не берет ваще. Паленой водкой торгуют.

Подошел возбужденный юноша со свастикой на обеих кистях. Смотрел так, будто зрачками умел выколоть глядящие на него глаза. Взял стоящий возле Митино столика стул, поволок его в глубь бара.

– Паленая. Сто пудов – паленая.

– Наливай, о вождь, паленой! – скомандовал Митя. – Опалимся дочерна.

– Хорош моросить. Пей, налито. – Гайавата кивнул на его рюмку.

– Ну, – Митя торжественно поднял рюмку, – за твою резервацию в границах до одна тысяча четыреста девяносто второго года!

Митя, конечно, замечал, как Гайавата опасно косится на окружающих, всем своим видом показывая, сколь мало у него общего с этим пустотрепом. Но пустотреп угощает, приходится терпеть. Митя обижался, но приходилось терпеть и ему. В уплату за нескрываемое пренебрежение оставались эти роскошные волосатые уши.

Волосы можно было бы заплести в косичку. На ночь на них можно было бы накручивать бигуди. Это были бороды сидящих в ушах гномов. Индейских гномов с перьями орлов на кончике шапок, с хищным оскалом и томагавками в перекрещенных руках. В случае опасности просто вытяни их за бороды.

– Да, мой вождь, я знаю точно. Точно знаю – но не помню, что я знаю... так что... выпьем. Гайавата щелкнул ногтем по опустевшей бутылке.

– Нету. Слышь... – толкнул его коленом. – Может, еще одну?

Митя выудил из нагрудного кармана столярник.

Гайавата зажал столярник в кулак и пошел к стойке. Бородатые его уши становились хвостами старых седых коней, грустно уходящих в табачный туман. «Я ему не по душе, – подумал Митя, – может, опять акцент?»

Грузинский акцент, неизменно выскакивающий из организма под напором алкогольных паров, не раз подводил Митю с незнакомыми людьми. Обычно он предпочитал не пить с незнакомыми: пугаются, всматриваются – тип с рязанской физиономией вдруг начинает не туда втыкать ударения, нормальные русские слова пускает танцевать лезгинку.

Вдруг захотелось увидеть Люську. Его радовало это желание. Если в таком состоянии он вспоминает о Люсе, не все потеряно.

В дальнем углу звонко взорвалось стекло. Бритоголовые с криками вскакивали с мест. В сторону бара полетели стулья. Перечница врезалась в стену, оставив на ней сухую, медленно осыпавшуюся кляксу. К Мите подошел парень со свастикой на обеих кистях и с чувством ударил в подбородок.

Над ним летели стулья, пластмассовые абажуры вертелись каруселью, разбрасывая снопы искр и осколков. Топот оглушал. В голове лопались бубны. Кто-то надсадно выкрикивал слово «милиция». Митя лежал у стены головой к опрокинутому цветочному горшку и сквозь большие резные листья смотрел в потолок. Пахло навозом. Отрезвление было полное и окончательное. Наконец-то можно было подумать обо всем. Когда незнакомый человек бьет тебя в челюсть и ты лежишь под столом, глупо прятаться от собственных мыслей.

...Подъезд был – как черновик Эдуарда Лимонова. Довольно художественные фразы типа «начнем жить заново» смешались с классическим трехбуквием. Свисали ключья паутины, давно покинутой пауками. Одна из трех дверей, выходящих в коробочку тамбура, – дверь паспортистки. Дранные листки расписания, номера счетов, которые все равно в темноте не разглядеть. Очередь с трех-четырёх часов ночи, список в двух экземплярах, прием в субботу с девяти до часу. Обмен паспортов. Как обычно в подобных случаях, роились слухи: старые паспорта скоро будут недействительны, будут штрафовать. Давно надо было заняться этим, да как назло на работе приключился аврал – людей поотправляли в командировки, выходных не стало. И нужно ведь было еще разобраться с пропиской. Мама в очередной раз переселилась из общежития детского сада, совсем аварийного, в общежитие подшипникового завода, аварийного только наполовину. Митя давно жил отдельно, то здесь, то там – снимал квартиры, но прописан всегда был у матери. Без прописки нельзя. Жизнь без прописки – дело неприятное и неприличное. Паспорт без прописки – экстрим ущербных граждан: «поиграемте в прятки, господа милиционеры». Так было всегда. Правда, в эпоху демократических переименований прописку называли «регистрацией». Без регистрации – нельзя. Жизнь без регистрации – дело неприятное и неприличное...

И вот Митя из детсадовского общежития выписался, а в заводское так и не вписался. Мама совсем запилила: приезжай, отнесем паспорта. Нужно лично. Но вопрос не казался таким уж срочным. Тем более когда свободного времени – два дня в месяц: на работе аврал, двое уволились, один взял отпуск. Наконец отнесли паспорта. Выстояли четыре часа, пробились, сдали.

Теперь нужно было выстоять столько же, чтобы получить паспорта – старые, советские – с новой пропиской и тут же, приложив все необходимое: квитанции, фотографии, заявления, – сдать паспорта, старые советские с новой уже пропиской, для обмена их на новые российские, чтобы потом, снова оплатив госпошлину в Сбербанке и снова написав заявление с просьбой прописать, сдать эти новые российские паспорта для оформления в них полагающейся прописки-регистрации...

– А вы за кем?

– А женщина была в очках. Куда делась?

– Ищите, значит, женщину.

Дыра в углу комнаты была заделана крышкой от посылочного ящика, прибитой к потолку дюбелями. Из другой, ближе к середине стены, выходила пластиковая канализационная труба и мимо стеллажа с картотеками уходила в пол. Паспортистка аккуратно выложила на стойку его советский паспорт, из которого торчал сложенный пополам бланк заявления.

– Вас не прописали, – и опустила глаза. Правый глаз у нее сильно косил, и поэтому она почти всегда сидела потупившись.

– Как?

– И паспорт, сказали, не будут менять.

Он резиново улыбнулся, вытащил бланк и заглянул в него. «Прописать», – было написано красной ручкой и поверх замалевано красным карандашом. Живот, как обычно, среагировал на неприятность тревожным урчанием. Митя сунул бланк обратно, переложил паспорт из руки в руку.

– А почему?

Она, конечно, ждала этого вопроса. Ответила заготовленной формулой:

– Идите к начальнику, он все объяснит.

Скрипнула дверь. Следующий уже дышал в спину.

– Нет, ну правда, почему?

Сзади послышалось:

– Сказала же: к начальнику.

Митя набрал воздуха, чтобы огрызнуться, но внезапно такая острая, сквозная тоска ододела его, что он сумел лишь переспросить:

– Почему? Вы ведь знаете, скажите.

– Не задерживай! – волновалась очередь. – Ты ж не один здесь.

– С ночи стоим. Вот эгоист!

Паспортистка сказала:

– Вкладыша у вас нет. А прописка в девяносто втором – временная.

– Ну и что, что временная... в девяносто втором – ну и что с того?..

Она по-учительски положила руки на стол.

– Закон новый вышел о гражданстве.

– Да?

Из коридора усмехнулись:

– А он и о законе не слышал!

– Согласно этому закону вы не гражданин России, – сказала она.

Волнение за спиной нарастало.

– Как... не гражданин?

Она развела руками. Митю тронули сзади за плечо.

– Выходи, давай! Сказано – к начальнику!

– Да вытащите его!

Он раскрыл рот, чтобы спросить еще что-то. Гул в тамбуре тяжелел с каждой секундой. Разгневанный римский легион ожидал приказа. Задержись еще на секунду – и копыта войдут промеж лопаток. Наконец он вспомнил:

– А матери паспорт? Мать прописали? У нее с вкладышем.

– Еще и мать! – сказал тот, что стоял за спиной.

– По ней будут делать запрос в консульство. Она ведь в консульстве гражданство получала?

– Ааа... кажется, – кивнул Митя, ничего не поняв, но не решаясь переспрашивать.

Развернулся, сделал шаг к выходу, но, оттолкнув двинувшегося на его место мужичка, порывисто вернулся к стойке.

– Как же я не гражданин, а?! Как?! Я же с восемьдесят седьмого года в России живу! Тогда и России этой самой в помине не было – поголовный СССР! Ну?! И кто я теперь? Кто? Гражданин чего? Мозамбика?!

Его тянули за рукав, дышали в затылок табаком.

– Что ты на нее кричишь?!

– От гад, раздраконит щас, а нам потом заходить!

Митя шагнул в темный тамбур. Сквозь враждебно застывших людей прошел в подъезд и вышел на крыльцо. Лежавшая на крыльце дворняга, не открывая глаз, повела в его сторону носом. «Ну вот, – подумал он, – приплыли». И тут, как заряд с замедляющим взрывателем, в мозгу рвануло – и Митя по-настоящему осознал, что только что произошло. Он лежал, опрокинутый навзничь, а по позвоночнику катился приближающийся гул... миллионы копыт тяжело вбиваются в землю, рвут ее, перемалывают в пыль... как так вышло, что он оказался на пути этого всепоглощающего бега?

...Затаив дыхание, он подвинулся вперед и высунул голову из-за цветочного горшка. Менты стояли к нему спиной. Курили, негромко задавали вопросы персоналу. Все смотрели куда-то влево и вниз, за колонну. Митя покосился в ту сторону, но ничего не увидел. Разве что бесхозно валявшийся стоптанный ботинок с прилипшим к каблук «бычком». Один из ментов взгромоздился на высокий барный стул и, разложив локти по стойке, что-то писал.

Митя осторожно расчистил пяточок перед собой от осколков горшка, встал и шагнул к выходу. Ему повезло, он ничего не зацепил, никто не обернулся в его сторону.

Холодная изморось противно облапила лицо. В голове было так, будто там одновременно болтали несколько человек, ныл отяжелевший подбородок. Он потрогал его – подбородок припух – и рассмеялся.

Ночь была крикливо раскрашена светофорами. Под ними вспыхивали сочные пятна. Округлые, сплюснутые, вытянутые на полквартиры – разные в зависимости от ракурса. На перекрестке Митя задержался, понаблюдав, как светофоры несут ночную службу. Красный – желтый – зеленый – желтый... Автомобили шипели шинами по мокрому асфальту, нехотя оставивали на красный свет. Как большой сильный жук в коробочке, в них громко билась, ворочалась музыка. Красный – желтый – зеленый – желтый... Караул в маскарадных костюмах. На углу Чехова и Пушкинской стоял милицейский «бобик» с распахнутыми дверцами, менты пили баночное пиво, громко обсуждая что-то забавное. Он нырнул в переулок.

Было довольно поздно, но Митя решительно не желал смотреть на часы. Вдруг окажется слишком поздно, чтобы идти к Люсе в «Аппарат», – а приходиться после закрытия она не разрешает. И тогда куда податься? Домой, в обклеенные сиреневыми розочками стены? Упасть на диван перед телевизором и лежать, переключая каналы до тех пор, пока говорящие картинки не загипнотизируют тебя. Потом передачи заканчиваются, тебя будит телевизор, шипящий точь-в-точь как шины по мокрому асфальту. Но звук шин полон движения, и он приятен, он подражает шуму волн. А монотонное шипение телевизора душит. Лежишь и смотришь кроличьими глазами в пустой экран как в большое прямоугольное бельмо...

Митя боялся провести эту ночь в воспоминаниях. Того хуже – перебирая черно-белые фотографии из прошлой жизни.

Он любил ее фотографировать.

Марина в профиль, Марина анфас. Марина, заспанная, выглядывает из палатки. Волосы собраны в два хвостика, спальный мешок собрался гармошкой. Спокойная улыбка Марины, выходящей из аудитории после защиты диплома. Ноги Марины, катающейся на качелях. Белые носки и теннисные туфли. Он и Марина перед ЗАГСом. В день, когда подали заявления. Стараются делать серьезные лица: кадр для истории. Их снял прохожий с загипсованной рукой. Он почему-то взял фотоаппарат как раз поломанной рукой и, когда нажал на кнопку, сморщился от боли. Снимок получился смазанный. Интересно, как сложилась жизнь у этого прохожего? Отдав фотоаппарат, он через пару шагов забыл о молодом человеке и девушке, стоящих на ступеньках ЗАГСа, а сделанный им снимок остался навсегда. И бывший молодой человек, ставший зрелым, смотрит на этот снимок и помнит про его гипс и как он сморщился от боли, нажимая на кнопку. А может быть, и не так. Может быть, пара перед ЗАГСом чем-то запомнилась прохожему, как он запомнился своим гипсом и гримасой. Прохожий почему-то помнит о них всю свою жизнь. И точно так же сидит сейчас где-то, поглаживает свой давний, ноющий на погоду перелом и думает: «А интересно, что там те двое, которых я сфотографировал в тот день, когда шел из поликлиники? Как живут-поживают?»

Все будет, как всегда. До фотографий, на которых Марина держит на руках маленького Ваню, Митя доберется с бешено барабаниющим сердцем. Пойдет курить на балкон и потом будет собираться с духом, прежде чем вернуться в комнату, будто на диване остались не фотографии, а живые люди.

Нет, нельзя. Надо во что бы то ни стало избежать фотографий. Утром в зеркале глаза побитой дворняги, и на работе физиономии окружающих – как захлопывающиеся перед носом двери. Нужно было добраться до Люси. У Люси он всегда найдет спасение.

Если он заходит в «Аппарат» в тот момент, когда она поет, то стоит у входа. Чтобы не маячить, не сбивать – но еще и потому, что любит понаблюдать за публикой, поглощающей коктейли и водку под звуки блюзов.

Заметив его, она еле заметно шевельнет рукой в длинной серой перчатке. Или в длинной лиловой перчатке. Или в красной. Иногда в качестве приветствия она лишь отрывает от мик-

рофона палец. Пока Генрих поиграет что-нибудь из Гершвина, Люся выйдет к нему в зал, сядет за столик. Дотронется до подбородка совсем по-домашнему, спросит: «Где это ты?» Он, конечно, пожмет плечом – мол, пустяк, мелочи жизни. Люся понимающе качнет головой – мол, понятно, пусть сами не лезут, да? Она всегда даст мужчине шанс выглядеть достойно. Даже став его любовницей, она умудряется оставаться его другом.

Люся всегда была рядом. Так ему казалось. А ведь целых шесть лет они не виделись, ни разу даже не столкнулись где-нибудь в переходе или в автобусе. Шесть лет... Три плюс три. Три года с Мариной и Ванюшей, другие три – с Ванюшей без Марины.

Невдалеке от «Аппарата» он остановился и закурил, поискав предварительно по карманам жевательных резинок. Резинок не было, потерял. Но курить хотелось сильно, и он решил, что ничего – выветрится. Нет, он не бросил курить, как рассказывает всем знакомым. Недели не продержался. Но признаваться в этом не хочется. Пусть думают, что он сильный.

...Пианино и бас-гитара притихали, задумчиво переговариваясь друг с другом. Люсина партия кончилась. Отойдя от микрофона, она взяла с пианино коктейль и потянула из трубочки. Митя встал, прислонившись плечом к дверному косяку. Публики было немного. В дальнем углу с какой-то дамой, сексапильно заглатывающей мороженое, расположился пьяный Арсен. Арсен полулежал на столике и, как обычно, не в такт подергивал головой. «Хозяин гуляет», – подумал Митя.

Люся заметила его. Подняла указательный палец: «Привет». Дослушав до конца гаснущие аккорды, Митя прошел за столик, кивнув по пути бармену. С барменами «Аппарата» Митя общался мало, были они как на подбор надменны, погружены в какую-то свою закрытую среду, будто доска бара отчеркивала их от всего окружающего. Над каждым столиком, пустым и занятым, горели низко опущенные абажуры. Повешены они были так, чтобы круг света как раз заполнял круг стола. Зря сразу не пошел в «Аппарат», подумал он. Напился бы в уюте и под музыку. Так нет же – в народ, в массы. За что и получил: а не лезь, куда не звали.

Глотнув пару раз из трубочки, Люся вернула коктейль на пианино и, наклонившись, что-то шепнула Генриху. Генрих поморщился, криво изломав губы. Митя догадался: она собирается петь что-то, чего не любит Генрих. Но у них договор: раз в неделю она может петь все, что захочет.

– Мчит-несет меня без пути-следа мой Мерани...

Нечасто Люся исполняла «Мерани». Генрих вообще считал, что петь блюзы по-русски – то же, что кукарекать по-лошадиному. Но Люся попросила, и он написал партию для клавишных. Ее просьбы он исполняет. Генрих из тех людей, которые испытывают физическое страдание от чужих просьб, – из тех малопонятных людей, которые убежденно не дают и не берут в долг, из тех, у кого попросить сигарету можно лишь после долгой предварительной подготовки. Но когда Люся говорит: «Генрих, а ты не мог бы?» – оказывается, что Генрих может практически все.

...Когда-то Митя был пьян и болезненно весел. Ему не на кого было вывалить это свое веселье, и он пришел к Люсе. Но «Аппарат» был закрыт на ремонт. В подсобках стучали молотки, то и дело что-то плоское грохало об пол и раздавался различной продолжительности мат. В зале, не считая его и Люси, были все музыканты: Генрих, Стас и Витя-Вареник. Они собрались репетировать, а ему разрешили посидеть тихонько, но не мешать. Дело не шло. Мучительно затянувшаяся попытка сыграть свой вариант «Summer Time» обрывалась нервной тишиной и унылыми взаимными подколами.

Генрих ходил пальцами по клавишам, будто пытаясь нащупать что-то под ними. Мелодия сломалась и изменилась неузнаваемо. Люся стояла рядом, приглаживая волосы гребнем. В любой затруднительной ситуации она набрасывается на свои волосы. Митя поднялся к ним на подиум, незаметно взял микрофон и, улучив момент, вступил:

– Мчит-несет меня без пути-следа мой Мерани.

Все обернулись в его сторону. Стас с Генрихом переглянулись, и Генрих подчеркнуто безразлично пожал плечом.

– Что это? – спросил Стас.

– Бараташвили.

– Кто? Ну, не важно. – Стас поднял гармошку ко рту. – Ну-ка... Может неплохо получится. Давай-ка дальше своего Швили, – и выразительно махнул Генриху, мол, не жопься, подыграй.

И Генрих хоть и скривился, но подыграл, а Митя в первый и последний раз в жизни под стук молотков за стенкой, под блюзовую мелодию спел знакомое со школы стихотворение Бараташвили: «Мчи, Мерани мой, несдержим твой скач и упрям. Размечи мою думу черную всем ветрам».

Глава 2

Собирался, настраивался. Но Ростов опять оглушил, как рухнувший потолок.

– Эй! Хуля спишь! Лезь давай, лезь!

Ай! Ни вздохнуть, ни обдумать. Некогда думать. Надо лезть.

– Вот балбес!

Следующего автобуса можно дожидаться час, и если пропустить этот, в деканате никого не застанешь. Была жара. Казенный вокзальный голос, объявляющий отправление поезда, вязко растекался в воздухе. Тополиный пух – летний ослепительный снег – летел и сверху и снизу. «Пора бы привыкнуть, пообтереться. Ведь никого другого не обругали в этом сопящем клубке. Все лезут, как надо. Но ты все равно все сделаешь не так!»

Ничего не изменилось: как и в самом начале, до армии, в ответ на базарную ругань внутри вспыхнуло пренебрежительное «Россия-мать!» – и, подумав так, он прикусил губу, будто сказал это вслух. А ведь загадывал: теперь все будет иначе, теперь должно быть иначе. Выводил формулы: «Я русский, едущий Россию. Я человек, возвращающийся на Родину».

Можно было бы подольше остаться в Тбилиси с мамой и бабушкой, не мчаться в Ростов через неделю после последней утренней поверки: занятия на геофаке начинались только через месяц. От армейщины отходишь, как от обморока, и возвращаться в обычную жизнь, не придя в сознание, было неразумно. Немного похоже на ту нелепую киношную ситуацию, когда герой заскакивает голый в комнату, полную строго одетых людей. Но он спешил.

Дома он почти не выходил в город. Мама сказала: не стоит. Мало ли что, сказала, Тбилиси с ума сошел. Молодым мужчинам вообще лучше не ходить в одиночку. Обстановка такая... особенно после девятого апреля. В родных стенах, среди привычных с детства предметов и запахов, Мите чего-то недоставало, он больше не чувствовал себя дома. Он тщетно ждал от себя умиления, радостного пробуждения: ну вот и вернулся. Он знал, как это должно быть. Открыть утром глаза и улыбаться – оттого, что вот он, твой дом – жаркие утренние блики на стенах точь-в-точь те же, что десять лет назад, оттого, что ты – другой, изменившийся, многое повидавший – наконец-то просыпаешься не в каком-то случайном и временном месте, а здесь, у себя дома, среди этих неменяющихся стен. Лежать. Смотреть в потолок, знакомый, как собственная ладонь. Встать, пройтись по квартире. Просто так. Смеясь собственной причуде, гладить стены. И он пробовал. Но трогал – и ничего не чувствовал. Почему-то казалось, будто трогает чужое. Пахло вокзалом. Казалось, вот-вот, грузно замедляясь, мимо шкафов потащится поезд, и он пойдет с ним рядом, лояв взглядом убегающие таблички с номерами вагонов, – за стены, по распахивающемуся далеко вперед перрону, обгоняя чьи-то спины и чемоданы. Митя наскоро собрался и поехал в Ростов.

И вот – лишь выйдя из вокзала в раскаленный город, удостоверился: ничего не изменилось. Таинственная сила отторжения сродни архимедовой силе, выталкивающей погруженное в воду тело, не прекратила своего действия.

– Убери, на хрен, сумку, прямо в рожу тычешь!

Долгожданный вечер погасил белое раскаленное небо, плеснув сверху синевы, а снизу фонарного тусклого золота. Не желая спрашивать дорогу у хмурых прохожих, Митя долго бродил по кварталу, разыскивая переулок Братский. Днем он нашел его довольно легко, но теперь пришел с другой стороны и заблудился. В конце концов он свернул от трамвайных путей в сторону и по изломанной линии крыш, по силуэтам балкончиков размером со спичечный коробок опознал место. Побитые фонари смотрелись здесь опрокинутыми чернильницами. Прилипшие к стенам фигуры выразительно молчали вслед.

Митя решил твердо: он будет жить в Ростове. Черт с ней, с общагой. Одно только терзало: придется звонить домой, просить выслать денег. Все, что привез с собой, придется потратить

на жилье. А где они возьмут денег, две женщины – одна безработная, другая пенсионерка? Должны были выделить место в общежитии, он был уверен! Но в его комнате давно живут другие и мест свободных нет ни одного, даже в не престижных четырехместках.

– Снимешь квартиру, – сказал декан Сергей Сергеевич, по прозвищу Си Си. – Ничего страшного, я в твои годы угол снимал за занавесочкой. Детская кроватка без спинок и табурет.

Он поднялся, давая понять, что разговор окончен, и Митя посмотрел на него – а росту в нем было два с небольшим – снизу вверх и понял, что Си Си никогда не простит миру той детской кроватки без спинок и просить его бессмысленно.

За парикмахерской показались те самые кованые ворота, и Митя прибавил шагу. После двухчасовой прогулки он наконец устал и хотел спать.

Глухой двор, составленный разномастными домами. С покачивающихся на растяжках фонарей упали два ярких конуса – два гигантских световых сарафана. Дрожали, ходили взад-вперед в монотонном танце. Растяжки скрипели. Раз-два-скрип, раз-два-скрип. Угольные кучи из забитых до отказа угольных подвальчиков высыпались во двор. Дом справа, чем-то напоминавший ему молоканский дом в родном дворе. Четыре высоких этажа и длинная железная лестница – вывалившаяся архитектурная кишка, кое-как разложенная по фасаду. Тишина искрилась. Кошки на угольной куче вывернули головы вверх и в сторону, как примерные солдаты по команде «равняйся». Окна были темны и беззвучны. На первом этаже посверкивало остроугольными зубками выбитое стекло.

Высоко над землей посередине железной лестницы стояли двое мужчин. Лицом к Мите – волосатый истукан: руки как пальмы, пузо как мохнатый кокос. Из-за схожего ракурса – снизу вверх – Мите даже померещилось, что это декан стоит на лестнице, живет в этом самом доме. «Семейные» трусы натянуты выше пупка, босые ступни на холодном железе. Полубоком к нему – маленький мышастый человечек. Синие трико пузыряются, клетчатая рубашка застегнута под самый кадык.

Гулкие ступени заляпаны кровью.

Поравнявшись с мужчинами, Митя разглядел, что голова толстяка пробита, с кровавых волос капает на плечи, на живот, на ноги. Он был окутан плотнейшим перегаром. В щекастом лице стояла мысль. Его трезвый друг бормотал что-то успокоительное, привстав на цыпочки и отключив, чтобы не вымазаться, свой двухграммовый зад. Над самым Митиным ухом, лишь только тот поравнялся с парочкой, раздался бас – будто дунули в парходный гудок:

– Е-оо! Так, значит, ты за мат-ри-ар-ха-а-ат?!!

Мышастый человечек сильно смутился, выпрямился. Выстрелил смущенным шепотком:

– А что это?

– Хе!

И, приперев его окровавленным пузом к перилам, толстяк зашептал ему в самое ухо зловещим шепотом... и вдруг расхохотался.

Митя никак не мог достучаться до хозяйки. Окно кухни, выходящее на веранду, оставалось темно, из-за двери слышался храп, похожий на военный марш. Уже и раненый волосатый гигант, волоча за собой друга и недобро поминая матриархат, исчез в недрах коридоров, и кошки разбрелись по своим полуночным делам. Митя перешел от легкого постукивания ногтем к стуку кулаком... Храп вдруг оборвался, пятки глухо ударили в пол, и послышались торопливые, словно по косоногу сбегаящие шаги.

– Кого... принес?!

– Это я, ваш квартирант, – сказал Митя.

За дверью разорвалась шрапнель:

– Какой на... кртирант?! Шас как швябряй! Пшел на... кртирант! Кртирант! Ходют тут, пидарасы, спать не дають! Кртиранты е...!

Удалились и смолкли сбегающие шаги. Пронзительно скрипнула кроватьная сетка, принимая упавшее тело. Митя остался стоять на пустынной веранде – под сизовато-пепельной грустной мордой луны над танцующими фонарями. Самое обидное было то, что баба Зина напилась на его же деньги. Единственное условие, поставленное ею при сдаче квартиры, – платить поденно: «Токо за день, вперед ни-ни. Кажий день – рупь. Проще, знаешь, считать». Рубль. Вечером. В руки бабе Зине или в деревянную хлебницу, усыпальницу тараканов. Чего уж проще? Но рубля у него не оказалось. И бабы Зины, когда он уходил, дома не было. Он знал, что вернется поздно, вот и сунул в хлебницу трояк. Что ж, сам виноват. Хрупок мир и капризен. Сказано: рупь – значит рупь. И не лезь с неучтенным, не суй больше, чем нужно: сломаешь. Сейчас бы спал спокойно в своей комнате. Когда же теперь она придет в себя, думал Митя, и, кстати, когда придет в себя, вспомнит ли, что вместо рубля получила три?

Ее адрес Мите дала вахтерша на факультете. Мол, далековато, в самом центре. Зато дешево, дешевле не найдешь. Он не стал привередничать. Баба Зина работает в прачечной. Пуская к себе очередного квартиранта, переселяется на кухню. В комнате – железная кровать и высокий шифоньер. И пахнет хлором.

– Все щистенько, прахрариррвано, – сказала баба Зина, торжественно заводя его в эту комнату, и содрала с кровати простыню.

Над кроватью вспыхнуло едкое белое облачко, простыня полетела к двери, а на ее место, снова выстрелив едким облачком, легла новая – судя по клейму, до бабы Зины принадлежавшая Министерству обороны.

– Ложись, касатик, отдыхай.

В шифоньере хранится все ее богатство, стопки выстиранных в родной прачечной простыней. Выстиранных не абы как – с чувством, с пристрастием, прах-рарр-риванных донельзя. Оставшись в комнате один, Митя первым делом изучил шифоньер. Простыни составляли интереснейшую коллекцию: полное собрание казенных простыней. «Собственность МО», «Горбольница №1», «Министерство путей сообщения».

Сейчас Митя с удовольствием бы растянулся на одной из коллекционных простынок. Откуда-то снизу грянули музыка и лихие вопли.

В громовом хохоте он узнал голос мохнатого истукана. Пьяный хор вразнобой подхватил припев: «Русская водка, черный хлеб, селедка...» Увы, бабу Зину это не разбудило. Ее храп оставался все таким же размеренным и основательным. «Дома такого не бывает, – привычно подумал Митя. И вдруг почувствовал злость на самого себя. Д о-м а! Теперь, стало быть, когда ты приехал сюда, твой дом – там?!» Но непрошенная мысль, вызвавшая его раздражение, добежала до конца: «Дома среди ночи не орут пьяным хором, не будят соседей». Неизлечимая болезнь эмигрантов, знакомая еще по первому году российской жизни – «все подвергай сравнению», – снова пробуждалась в нем. Постоянная необходимость сравнивать и сверять частенько вгоняла его в ступор. Он вздохнул, подумав о том, что не имеет власти над этим наваждением, так и будет перемалывать: а там – вот так, а здесь – вот эдак, а у них – вот что, а у нас – совсем другое. По кругу, по кругу. А почему у них так, если у нас по-другому? Все новое притащить на суд и подвергнуть пристальному рассмотрению: ну-ка, что за крокозяба? И никуда не деться от паранойи, все будет измерено и взвешено, во всем кроется раздвоенье.

– Васька, сукин сын! Слезь!

Там праздник – карнавал моего благополучия, парад моих и твоих достоинств. Так и разворачивается: медленно, театрально, чтобы ничего не упустить. Здесь праздник опасен, здесь праздник быстр и стремителен, как штыковая атака. Между первой и второй перерывчик небольшой. В атаку марш! Быстрее, быстрее! Рванули и задохнулись. Ищем уцелевших. Кто-то рухнул грудью на амбразуру, завтра он будет героем.

– Матриарха-а-ат?! Не позволю!

Раскачивающиеся на скрипучих растяжках фонари. Угольные кучи. Кошачьи глаза. Дыра в стекле и оставленное на ночь белье на провисшей веревке. Мяч. Синий мяч в белый горошек посреди пустого двора. Почему-то вид этого одинокого мяча тронул его сердце. Ничего такого. Но мир, открывающийся ему с веранды, был как-то пронзителен. Как скол стекла – осторожно, порежешься. Как птичий крик. Летит птица через полмира, жизнь у нее такая, перелетная, – и где-нибудь в совершенно непримечательной точке, над каким-нибудь совершенно непримечательным дядькой, занятым каким-нибудь совершенно непримечательным делом, крикнет – так, ни о чем, вздохнет по-птичьи. А дядька разогнется, руки уронит плетьюми, смотрит ей вслед и плачет...

– Васька! Кому говорю, слезь!

Гулянка, похоже, набирала обороты. Вряд ли он уснул бы в таком шуме, так что лучше уж постоять здесь, на воздухе, между луной и фонарями. А ночь, накрывшая землю синим в золотой горошек покрывалом, была хороша. Над белесым нимбом города полыхала луна. Ее морда, устало склоненная вниз и чуть набок, была исполнена мертвой стеклянной грусти. Запахло листьями. «Как-то ведь все всегда устраивается, – подумал Митя. – Сначала трудно, потом привыкаешь. Меняешься. Как-то ведь меняешься, приноравливаешься».

Надо, надо, надо. Туда ты уже не вернешься.

Митя вздохнул и сказал луне:

– Ничего, прорвемся.

– Прорвемся, – ответила луна сочным девичьим голосом. – Если не порвемся.

От неожиданности Митя отскочил от перил, выбив каблуками коротенькую чечетку. Внизу рассмеялись:

– Тю, какой пугливый.

– Да не ожидал, – оправдался Митя в темноту.

– Моя вина, я всегда тихо хожу.

Голос был вкусным. От него делалось чуть терпко в горле, будто он входил не через уши, а заглатывался, как густой сладкий напиток. Митя перевесился через перила и увидел прямо под собой силуэт девушки. Она смотрела на него и в знак приветствия распрямила пальцы, лежавшие на перилах.

– Привет. Не спится?

– Да, уснешь тут.

– Не говори. И если б еще пели... – Девушка скрылась из виду, и он услышал ее поднимающиеся по ступеням шаги. – А то воют, будто им прищемило.

Расы смешались в ней весьма удачно. На Митю смотрело совершенно европейское лицо – тонкие губы, прямой нос, но вылепленное из шоколада. Волосы, облитые лунным светом, стояли надо лбом пушистым нимбом.

– Ты кто, квартирант, что ли?

Мулатка здесь, на этой несуразной лестнице, выглядела отступлением от реальности. Сейчас следом за ней по железным ступеням поднимется вся Африка. Львы, жирафы, слоны... масаи с длинными копьями вот-вот выйдут из тени и сверкнут черными полированными зрачками. Но вместо этого она сказала:

– Тю! Пугливый и задумчивый.

– Я тут комнату снял, – начал Митя.

– У Зинки?

– Ну да.

– Ааа, разбудить ее не можешь? Я тоже ее как-то будила.

Митя ожидал, что мулатка рассмеется, но она помолчала пару секунд с серьезным видом. Сказала:

– Ладно. Идем ко мне.

– Что?

– Ты на голову стойкий?

Она осмотрела его скрупулезно.

– Ко мне идем. Ты ж ночь здесь так не простоишь? А Зинка если белочку поймала, то дня на три.

Митя начал краснеть. «Хорошо, что темно, – подумал он. – Не заметит».

– Та-ак, – сказала она. – Ты сейчас отчего покраснел, от моих слов или от своих мыслей? Я ж тебе ночлег предлагаю. Идешь?

Она повернулась и пошла вниз. Митя пошел следом.

– Кровать у меня одна. Большая, но одна. Так что, если голова тебя не подводит...

– Спасибо, – отозвался он невпопад.

– Смотри только, потом не болтай, чего не было. Кастрирую. Меня Люда зовут.

Они прошли по тесному лабиринту мимо шкафов, сундуков, неясных груд скарба, укрытого тряпьем. Мимо стульев, тазиков, помойных ведер, мимо выставленных за двери велосипедов и подставок под новогодние елки. Комнаты выдавились в коридоры. Границы жилья не совпадали со стенами. Половые доски скрипели то угрюмо, то истерично. Свернули, свернули, поднялись на три ступеньки, Митя уронил велосипед, снова свернули, спустились на пять ступенек. Ее комната оказалась в самой глубине этого кирпичного чрева.

– Заходи, – сказала она, толкая незапертую дверь и проходя вперед.

На двери висела табличка с железнодорожного вагона «Адлер – Москва», под ней наискосок – узенькая полоска, какие вешают на задние стекла автомобилей: «Не уверен – не обгоняй».

Митя вошел в комнату, пропущенную через мясорубку. Беспорядок был феноменальный. На стенах, на каждом свободном кусочке, теснились самые невероятные таблички: «Все билеты проданы», «Щитовая», «Поел – убери за собой», «Закрывается!», «Отоларинголог», «Осторожно, окрашено», «Пива нет», «Стоять! Предъяви пропуск!» и даже фотопортрет какого-то серьезного Степана Семеновича Хвесько, с галстуком и усами. Вещи заполняли комнату произвольно, как присевшая на короткий отдых стая птиц.

– Не пялся. – Она сорвала с настольной лампы бюстгальтер, забросила его в шкаф и захлопнула дверцу. Бюстгальтер выскочил снизу из-под двери. – Иногда я убираю. Но пока рано. Ты располагайся.

Кровать действительно большая. Пианино. Одежда на спинках стульев, на вбитых в стены гвоздях, на полу. Стопки нот вперемешку с одеждой.

– Сейчас организую тебе умыться. – Люся принялась искать что-то в ворохе тряпок.

– Музыкой занимаешься? – Она не ответила на Митин вопрос, видимо, посчитав его риторическим. – Ты одна живешь?

– Мать сейчас в запое, где-то воеет. Пианино здесь всегда было, представляешь?! Никто не помнит, откуда оно. Оно прибито. Вот такенными гвоздями, вон, видишь? Думаю, еще до революции здесь стояло. Кто его приколотил?

– А это все? – спросил Митя, поведя взглядом по стенам.

Таблички и вывески, портрет чужого дядьки, по всей вероятности, с заводской доски почета, – даже разорвавшийся снаряд не сумел бы столь полно вышибить из комнаты жилой дух. Люся окружила себя призраками кабинетов, коридоров, служебных входов и забегаловок. Последовательно воплотив принцип «если у вас нету дома, пожары ему не страшны», она, кажется, считала проблему решенной. Она сидела, покачивая ногами, на кровати и, остро задрав плечо, на которое закинула открытое наконец полотенце, весело наблюдала за Митей.

– Чего на папу моего уставился? – кивнула она на портрет и, удовлетворившись его растерянным видом, подмигнула. – Шучу. Папа где-то в Анголе, ни разу не видела. Коллекционирую, – пояснила она и пожала плечами, мол, можешь думать, что хочешь, а я коллекцио-

нирую. – Таблички в основном. А этого типа прихватила, потому что понравился. Видишь, положительный какой, непьющий, гордость коллектива. Вполне подходящий отец, разве нет?

– У вас тут все что-то коллекционируют?

Она пересела на стул, полотенцем смахнув с него конфетные обертки, поставила локоть на стол и замерла с заломленной вверх ладонью.

– Нет, – сказала Люся задумчиво. – Кажется, Вова с первого этажа – пивные пробки, Софья Ильинична – импортное мыло. А! Степан бутылки коллекционирует. С понедельника по субботу коллекционирует, потом сдает. А что?

– А баба Зина?

– Что баба Зина? Не знаю.

– Она, похоже, простыни коллекционирует?

Люся оживилась.

– Не-ет! То ж она из своей прачечной прет. Это же не коллекция.

– Почему?

– Потому что! – Казалось, она готова рассердиться. – Надо ж разницу чувствовать. Если хомяк в нору зерна натаскал, это коллекция? Нет. Запас. А когда сорока блестяшки тащит? Коллекция? То-то.

Чтобы Митя не заблудился в темной кишке коридора, Люся проводила его до умывальника. Пока он умывался и чистил пальцем зубы, она стояла в дверном проеме, поставив голую ступню на колоду. Митя стеснялся чистить при ней зубы, но и стоять к ней задом он тоже стеснялся – и поэтому скручивался сложной спиралью, одновременно отвернув от нее и зад, и лицо. А Люся тем временем рассказывала ему про Бастилию – так она называла свой дом – и что мужик с разбитой головой – самый безобидный из соседей, только с женой не повезло, лупит его страшно, и что сама она живет с матерью, только мать редко бывает дома. Потом они шли обратно по скрипучим шатким доскам, и, заперев дверь на ключ и две цепочки, она сказала: «Отвернись, – а через секунду, после скрипа кровати: – Ложись».

В открытой форточке стучали рельсы, ковали ночную грусть. Он лежал, слушал. Громко стучали, будто под самой головой. Вокзал здесь был рядом. Совсем как в Тбилиси. В те дни после армии, проведенные дома, он часто лежал вот так по ночам, глядел в призрачный ночной потолок, поглаживал культяпку отстреленной фаланги, на ощупь напоминавшую крохотный шишковатый череп, и слушал рельсы. Они обещали что-то. «Туда-туда, – долдонили они, – туда-туда».

Пожалуй, лучше было бы сменить квартиру, но он останется в Бастилии. Он только что так решил. Ночной перестук здесь совсем такой, как дома, когда окна распахнуты настежь в поисках спасения от июльской жары, и каждого дуновения прохлады ждешь всей своей прожаренной кожей, и зуд кузнечиков обрывает лишь этот летучий стальной звон. «Туда-туда, – говорят рельсы, – туда-туда». И здесь они говорят то же самое: «Туда-туда».

Рядом, смачно сопя, лежит Люся. Сначала ее черным взъерошенным крылом укрывали волосы, но потом она одним удивительно четким жестом – так что Митя даже решил, что она проснулась, – убрала их с лица. Стараясь не касаться ее под одеялом, Митя уполз на самый край кровати. Надо было все-таки решиться и попросить постелить ему на полу. Он несколько раз покосился на нее, коря себя за то, что нехорошо подглядывать за спящими. Вспомнил даже, как в первую ночь в учебке почувствовал себя пугающе неуютно именно оттого, что спать ему придется вот так, открыто, на виду у дневального. Позже, когда заступил дневальным сам, он старался, проходя по казарме, не глядеть в сторону подушек, на стриженные, такие одинаковые в казарменном сумраке головы, на отвалившиеся будто в степени крайнего удивления челюсти... Пospешив прогнать непрощенные воспоминания: «Вот сапог! Лежишь возле девушки, думаешь про казарму!» – Митя все-таки приподнялся на локте и посмотрел на нее.

В спящей Люсе нет ничего неприглядного – ни раззявленного рта, ни вспотевшей под носом губы. Она будто лишь на секунду прикрыла глаза от солнца. Люся кажется ему чудной. Сам факт ее существования в этом месте выглядит не менее диковинным, чем это ее приколоченное дореволюционное пианино.

Туда-туда, туда-туда.

Где-то внизу что-то наотмашь падает на гулкий деревянный пол, слышны хохот и чье-то басовитое ворчание. В Бастилии не спят. Соседний дом подошел так близко к Люсиному окну, что его сизая лунная стена заслонила почти весь вид, оставив узенькую щелочку, в которой уместились восемь звезд и конец торчащего из-за угла троса. Разлохмаченный трос блестит тем же голубым серебром, что и звезды, и становится кисточкой, с которой сорвались эти восемь капель. Скоро Митя перестает чувствовать, как он неудобно лежит на краю, кровь легко бежит по телу.

«Туда-туда, – вновь и вновь повторяют рельсы, – туда-туда».

Митя старался не подавать виду, но на самом деле был огорошен внезапным поворотом событий. Вчера в это же время он был в Тбилиси, валялся на лоджии и глазел в окно поверх переменчивых силуэтов деревьев на Млечный Путь, на белесые кульбиты летучих мышей. Сегодня, не пробыв в Ростове и дня, лежал в невозможной комнате с прибитым пианино возле незнакомой девушки Люси, и она была мулатка! В Тбилиси он не знал ни одной мулатки. Его пробуждающийся от армейского анабиоза организм волновался. Волнение это, не имея другого выхода, било в голову и бодрило не хуже горячего крепкого кофе. От пяток до макушки он был пронизан непрерывным и каким-то чрезмерным вниманием, не пропуская ни одного ночного скрипа, ни одного блуждающего по спящему дому запаха. Будто что-то важное, чего никак нельзя прозевать, должно было произойти. Такая степень сосредоточенности приключалась с ним в учебке, на зачетных стрельбах, когда от дырочек на бумажных мишенях зависело, какой взвод поедет, а какой побежит до казармы. Но тогда она заканчивалась выстрелом и тихим, радостным или грустным, в зависимости от попадания, матом. Теперь же ощущение собранности дарило состояние, не укладывающееся в систему «радость – грусть». То было отвлеченное предвкушение чего-то очень большого: истины, смерти, счастья. Казалось, если бы сам Христос вошел сейчас в дверь, Митя бы поздоровался, встал тихонько, чтобы не разбудить Люсю, и вышел с ним в коридор. «Наверное, так чувствуют себя перед тем, как совершить подвиг, – думал он. – А я вот лежу тут под одним одеялом с мулаткой Люсей, лежу и не жужжу. И пододеяльник несвежий». Митя не понимал, зачем сейчас, в такой пикантной ситуации, этот пронзительный накал, и главное – что с ним делать. Он просто лежал и ждал.

«Туда-туда», – выстукивали рельсы, и он знал, что этой тяги назад, домой – в Тбилиси – ему никогда не побороть. Но знал он и другое: домой ему никогда не вернуться. Того Тбилиси, в котором он родился и жил, больше нет. И никогда не будет. Его Тбилиси умер, и все эти кипящие клокочущие толпы, стекающие от Руставели вниз, по мосту через Куру, до Плеваховской и дальше, растекаясь от базара и до набережной, – не что иное, как похороны.

– Звиад! Звиад! – Сотни кулаков выпрыгивают вверх.

– Зви-ад! Зви-ад! – режут они, срывая голоса и вгоняя себя в истерику.

Обиженное усатое лицо на огромных портретах, плывущих над головами, раскачивается во все стороны, будто кланяется толпе. В случайно выхваченных из толпы глазах сияет решимость – восторг решимости.

«Грузия для грузин!» – выкрикивают ораторы с таким воодушевлением, что внимающие им с непривычки захлебываются в высоких эмоциях. У кого-то вырывается возбужденный вздох, у других – торжественные революционные слезы. «Русские оккупанты, убирайтесь в Россию!» Молодой священник с прозрачной клочковатой бородкой через мегафон огласил обращение католикоса: «Кто убьет грузина, будет вечно гореть в аду». Многие принимают истово креститься. Хрустальный дух правого дела звенит в каждом вздохе толпы, дрожит

в сухом летнем воздухе над ступенями ненавистного Дома правительства, меж темно-зеленых раскидистых платанов, стихая в круто уходящих к Мтацминде горбатых переулках.

Эти люди, которых совсем недавно отсюда, с этого же места, выдавливали железными боками БТРов и цепочками солдат, испуганно зыркающих в щели между касками и новенькими милицейскими щитами, – эти люди вернулись за реваншем. Они простояли перед Домом правительства несколько часов, скандируя, обличая и клянясь самыми пронзительными клятвами. Никто больше не смеет разгонять их. Но прорезанное высокими арками здание, гордо поднявшееся над проспектом, все еще неприступно, все еще не по зубам, так что приходится довольствоваться криками и угрожающими жестами в направлении облицованных желтым туфом стен, но этого после надвигавшихся в темноте БТРов уже мало. Не истратив всего жара, они двинулись к филармонии. Движение на Руставели замерло, и река митинга струится между машинами, как между разноцветными валунами. Водители терпеливо ждут. Автомобили, выезжающие навстречу портретам Звиада, визжат тормозами и спешно разворачиваются, чтобы нырнуть в переулок.

Перед «Водами Лагидзе» стоит растерянный гаишник. Видимо, митинг застал его сидящим в кафе, но кафе спешно закрыли, посетителей выставили на улицу, и он оказался лицом к лицу со звиадистами. Боковая улочка, круто уходящая вверх, перекрыта хлебовозом и неудачно застрявшими «Жигулями». Между стенами и автомобилями не больше локтя. С его комплекцией не стоит и пытаться. Совсем как возле большой сердитой собаки, он опускает глаза и медленно, без резких движений вынимает из пачки сигарету. Человек десять устремляются к гаишнику. Они окружают его плотным кольцом, что-то спрашивают и кричат, и хватают за портупею, и требуют немедленного ответа. От его ответов, очевидно, зависит главное – будут ли его бить. Уже фуражка его сорвана, ее впихнули ему в руки. И вдруг все разрешается. Выкрикнув что-то смешное, швырнув фуражку под сотни шаркающих по проспекту ног, где она тут же растоптана и отфутболена – новенькая фуражка с высокой тульей, наверняка сделанная на заказ, – гаишник решительно шагает в толпу. Его похлопывают по плечу, приветствуют одобрительными возгласами, шумная человеческая река течет, не останавливаясь, огромные портреты с мрачным усачом идут друг за другом, заглядывают в окна, приветствуют кого-то поднятым вверх кулаком и ритмично, по-верблюжьки кивают на ходу.

Несколькими часами позже Карина Богратовна сидит на диване в гостиной, у нее грипозные глаза и пятнистый румянец на щеках, к которым она то и дело прикладывает ладони, будто пытается остудить. Митинг настиг ее в своем конечном пункте, на Плеханова, где к нему присоединились мальчишки из окрестных дворов, добавившие свежих сил и революционности. Они свистели, кричали, не жалея молодых голосов, поджигали урны и афиши, взбирались на стоящие длинной вереницей троллейбусы и размахивали флагами. Карина Богратовна поспешила вернуться домой, но до дома далеко, а ей нужно успокоиться...

– Я на минутку, дух перевести, – сказала она с порога, рассеянно вешая в гардероб фотоаппарат, как вешают шарф или пальто. – Слушайте, я не верила. Это что же это такое?

Бабушка отрешенно сидит напротив нее в кресле. Ее лучше не трогать. Митя совсем, совсем не хочет, чтобы бабушка говорила. Но, похоже, она ничего и не собирается говорить, ей наверняка не преодолеть такого каменного молчания. Когда он смотрит на нее и представляет, какие картинки сорокалетней давности могут сейчас проплывать перед ней и о чем она может думать, слушая рассказы о митингах, на которых ее объявили оккупанткой, по коже его пробегают мурашки. Он чувствует себя неловко. Ему вроде бы положено успокаивать женщин, а он не знает, как это сделать. Сходил, принес воды, теперь два полных стакана стоят на журнальном столике.

Карина Богратовна выглядит такой же подавленной. Мите это кажется неестественным, он помнит ее другой. Двумя-тремя фразами, точно ударами хлыста, она укрощала впавший в раж непослушания класс. Ходила до школы пешком через два микрорайона. По выходным

гуляла по старому городу и фотографировала дома. Она всегда увлекалась фотографией и уже несколько лет снимала дома в Старом городе. Портреты домов. Уж как это у нее получалось? Люди на этих снимках, где бы ни располагались, что бы ни делали, оставались второстепенными деталями, то незначительными, как пунктуация в хороших стихах, то важными, как значок ударения в незнакомом слове, но даже тогда нужными лишь для того, чтобы привлечь внимание к какой-нибудь удачной черте фасада. Митя однажды ходил с ней фотографировать дома. Увидев старый Тбилиси глазами Карины Богратовны – солнце, фигурно нарезанное балюстрадами балкончиков, мостовые кривых переулков, похожие на рыбы спины, – Митя понял, каким колдовством этот город влюбляет в себя людей. Подглядел, как он настаивает по своим кривым переулкам эту хитрую отраву, что превращает обычных с виду горожан в фанатиков тбилисцев... Они прошли тогда полгорода и решили вернуться только тогда, когда закончилась третья пленка.

Наверное, и в этот день она ходила фотографировать.

И вот Карина Богратовна выглядит беспомощно.

– Это похоже на начало фашизма, – говорит она. – Это натуральное начало фашизма.

Глядя на ее отражение в стекле книжного шкафа, Митя почему-то уверен, что бабушка вспоминает сейчас того немца в госпитале, которого она выходила, порою экономя лекарства на наших раненых. Регулярно в течение месяца немец, пряча глаза, бормотал лишь свое испуганное «данке» после каждой перевязки и, даже переворачиваясь с боку на бок, старался не скрипнуть пружинами – и вот, услышав рев «мессеров», он вскочил на койке и дико, будто его только что ранили, кричал и хохотал, и тыкал забинтованной рукой в потолок. И не бомбежки, не пресная похлебка из картофельных очисток, не бессонные по три кряду ночи – вот этот раненый немец остался ее самой жестокой обидой за всю войну. «Русские оккупанты, убирайтесь в Россию! – про себя повторяет Митя, глядя на бабушкино отражение в темном стекле шкафа. – Убирайтесь в Россию!»

Ну вот, он в России. Почему же дом – все-таки там, в Тбилиси? Так не должно быть, так не может быть!

– Зви-ад! Зви-ад!

Глава 3

В каждом углу было что-нибудь, связанное с этим мальчишкой. На полу расстелена газета. (Скорее всего, в качестве подстилки, чтобы ребенку не пришлось сидеть на полу.) Яблоки в вазочке. (Светлана Ивановна, страдая язвой желудка, не ела ничего сырого.) Закладка, торчащая из книги сказок. Пожарная машина с отломанной лестницей. Наверное, отложила к его приходу. Попросит, чтобы починил. Мальчишка наследил повсюду. Под столом валялись солдатики. То и дело попадали под ногу.

Ему – тридцать лет назад – ни за что не позволила бы бросить солдатиков под столом.

Его зовут Сашка. Ему три года. Он ребенок запойных родителей. Митя ни разу его не видел, но слышал о нем часто. Мать только о нем и говорит. То есть говорит о разном, но только о нем – с увлечением. Сашка начал выговаривать «эр», Сашка обжегся поднятой с пола сигаретой. (Свиньи, бросают где попало, я им такой скандал устроила!) Ее мания, «Русское лото», и та теперь связана с Сашкой. У него сильное косоглазие. (Сделать бы мальчику операцию на глазах, а то что же он так ходит.)

Дымящаяся турка медленно вплыла в комнату. Митя на всякий случай подобрал ноги. Солдатики под столом хрустнули. Транспортировка кофе всегда была для нее рискованной операцией. Светлана Ивановна хватала турку обеими руками и шла, вытянув ее перед собой. Будто держала за хвост могучего варана. И смотрела на нее неотрывно, драматически изломав бровь.

– Сволочи, просто сволочи!

– Ну, хватит, мама. Хватит.

Кофе, как ночной зверек – быстрый клочок тени, – упал в чашку. Золотой ободок по краю фарфора давно стерся. Чашка была старая. Последняя уцелевшая из того самого сервиза. Светлана Ивановна поставила чашку на подоконник и вскинула руку с сигаретой к лицу, свободной рукой обхватив локоть. Спина округлилась и одновременно откинулась несколько назад.

– А кто они еще? Издеваются, как хотят. Сволочи беспардонные!

Через пару затяжек она возьмется за фарфоровую ручку всей щепоткой пальцев и закончит курить точно перед последним глотком. Сколько раз он видел это: кофе, напряженная спина и тающая змейка сигаретного дыма. Он вдруг подумал, что, когда ее не станет и он останется совсем один и она ему приснится, то приснится именно со спины, держащей на отлете сигарету. Митя понимал, что нужно дать ей выговориться. Понимал, но не мог совладать с раздражением. Странно, он наверняка готов слушать то же самое от кого-нибудь другого. Качал бы головой, подхватывал: «Сволочи, сволочи».

– Неужели и на том свете они нас встретят, заставят какие-нибудь анкеты заполнять? Они и там, наверное, пристроились. Изверги!

– Хватит, – сказал он, морщась так, будто прищемил палец. – Из пустого в порожнее.

Его раздражает в матери то, что он легко прощает другим. Это никогда не изменится. Это не изменится никогда, потому что это невозможно объяснить.

– Говорила, нужно сдать паспорта, нужно сдать... – Светлана Ивановна махнула сигаретой, рассыпав пепел по комнате. – Сколько раз говорила! Послушал бы ты меня, сходил бы ты к этому Сергею Федоровичу. А вдруг поможет? Все-таки начальник паспортно-визовой службы.

– Другого района.

– Ну и что? Они все одна... компания.

– Это ж сколько денег нужно приготовить? И где их взять?

– А вдруг без денег поможет? Все-таки племянник Валин. Может, сделает ради Вали?

Разговор злил Митю. От одной мысли, что нужно идти к этому Сергею Федоровичу, его тошнило. Тот его ровесник. Но он – Господин Начальник районной ПВС, паспортно-визовой службы, и поэтому Митя будет говорить ему «вы», а он Мите – «ты», и лицо нужно будет иметь умильно-уважительное, а соизволит шутить – так смеяться от души, бодро и звонко. И проделать это нужно сознательно, по собственному выбору. Стоять и чувствовать, как гнется и мокнет спина, а руки превращаются в лапки, – и выползти оттуда таким маленьким и гнусным, что впору юркнуть куда-нибудь в щелку под плинтусом и исчезнуть там навсегда, чтобы уже не трогали. Удивительно было вот что: когда на работе Митя проворно открывал дверь перед господином Рызенко, председателем правления банка, он отнюдь не терзался ущемленной гордостью: работа как работа – в детстве он хотел стать космонавтом, но не стал.

Рызенко не разговаривает с охранником, как барин со смердом, ему неинтересно окружать себя ничтожествами, он и так доволен жизнью. Но в этих убогих кабинетах, убеленных густым слоем пыли, обставленных мебельным ломом, даже портреты Путина, кажется, вот-вот заорут: «Чьих холоп будешь?!» И вот нужно идти к Сереже, Валиному племяннику. Сейчас он – визирь и великий князь, и Митина надежда на российское гражданство. Валя – мамина подруга, такая же уборщица, как она. Но Сережа, Сергей Федорович – начальник ПВС и ради тетушки согласен его выслушать.

– Хочешь, я попрошу Валю, она с тобой пойдет?

Еще и это! Как же она не понимает!

Мите не хотелось сегодня ссориться. Он знал наперед, как все будет. Он уйдет. Она крикнет вслед: «Иди, иди! Ох, как тебе с матерью не повезло!» Он остынет через час, но пропадет на месяц. Она позвонит ему на работу, скажет: «Так... просто голос услышать». Будет рассказывать всякую ерунду – как соседка притащила со свалки газовую плиту, хотела в металлолом, а потом ее установили на кухне, и теперь у них еще одна плита. Потом спросит, как ни в чем не бывало, когда он придет. А он скажет: «Не знаю, сейчас некогда», – и, когда повесит трубку, почувствует себя мерзавцем. Приедет к ней прямо со смены, сядет на этот же расшатанный табурет, она сядет на свою раскладушку. Они попробуют говорить о том о сем. Вполне вероятно, снова поцапаются. Он уйдет. Она крикнет ему вслед: «Иди, иди!» – а через месяц позвонит на работу, скажет: «Так... просто голос услышать, соскучилась по голосу», – и болезненный круг замкнется.

– Если бы ты слушал, что тебе мать говорит – хотя бы через раз... да нет, о чем я! Хотя бы каждый десятый раз...

Дверь открылась, и вошел Сашка. Вошел, внимательно посмотрел на Митю своими донельзя косыми синими глазами. Митя глянул в ответ, но косоглазие было настолько сильно, что ему показалось, будто он смотрит меж двух разных людей. На майке красовались свежие отпечатки ладоней. Ему запрещено приходить с грязными руками, вспомнил Митя.

– Привет, Сашок, – оживилась Светлана Ивановна и прикрыла форточку, чтобы не дуло. – Привет, дорогой.

Сашка еще раз вытер руки о майку, показал жестом, будто посыпает что-то чем-то.

– Масла с сахаром?

Он кивнул.

– Сделаем. – Светлана Ивановна вдавила сигарету в пепельницу. – А ты пока руки помой. – И взяла с холодильника мыльницу. – Иди. Давай, давай, вымой по-настоящему.

Сашка мотнул головой – мол, нет, не пойду – и показал ладошки, мокрые и в грязных разводах:

– О!

Он предпочитал не говорить.

– Тогда ничего не получишь.

Сашка нахмурился, постоял в задумчивости, но все-таки взял мыльницу и вышел.

– Об себя не вытирай!

Светлана Ивановна достала из настенного шкафчика хлеб, сахар, полезла в холодильник за маслом. Митя не знал, что так далеко зашло. Он вдруг понял, что Сашка проводит тут все свои дни.

Он рос, как сорняк, вопреки всему. Ему было четыре месяца, когда Вика, его мать, спяну забыла его в автобусе. Сверток со спящим младенцем обнаружился на конечной, когда в автобус хлынула толпа. Водитель вспомнил, что видел пьяную женщину с ребенком на руках. Вспомнил, что она вышла возле общаги. Он привез Сашку к общаге и пошел по комнатам: «Не ваш ребеночек?» Сашку узнали – к тому же он был завернут в чей-то плед, украденный накануне из постирочной. Тогда-то Сашка впервые и остался ночевать у соседей. Вике его отнесли только на следующий день, когда она немного пришла в себя. С тех пор Сашка так и живет – день здесь, неделю там. Здесь покормят, там оденут. Его, может быть, кто-нибудь и взял бы насовсем, но Федя, Сашкин отец, когда приходит пьяным и не застаёт его дома, ходит по коридорам и орет у каждой двери: «Сыночек! Засужу уродов! Засужу! Кровинушка моя!» Однажды Федя куда-то пропал, а дверь оставил запертой. Сашке было два года. Он молчал целые сутки. Писал в мусорное ведро. На вторые сутки стал кричать проходящим мимо его двери: «Тут Саня! Тут Саня!»

Сашка вернулся, мыльницу положил на пол, прямо на коврик, и направился к столу. Майка его спереди промокла насквозь.

– Надо было с ним пойти, – сказала Светлана Ивановна, глядя на мокрую майку.

Сашка ухватил бутерброд.

Это ее особое воспоминание. Из тех особых воспоминаний, которые, как красный буюк среди волн, всегда на плаву: устанешь – хватайся. Это ей в детстве мама делала такие бутерброды. Послевоенные бутерброды с маслом и сахаром. Провиант добывался, как дичь, – трудом и сноровкой, а вкусное было праздником. «Подбежишь под окно, крикнешь: „Мам! Сделай масла с сахаром!“ Она сделает, вынесет во двор. Боже мой, до сих пор помню вкус». Митя в свое время переел этих бутербродов. «Ну, поешь, Мить. Вкусно же». – «Да не хочу я, ма, сколько можно. Съешь сама». – «А давай вместе?»

– Что же ты? – наклонилась Светлана Ивановна к Саше. – Что так забрызгался?

– Те, – ответил он, дернув головой в сторону умывальника. – Убью.

– Ааа... другие дети тебя облили, да?

Он закивал, не вытаскивая бутерброда изо рта. Сахар посыпался на стол. Светлана Ивановна погладила его по голове.

– Ничего, не обращай внимания. Я же знаю, ты у меня аккуратный.

Митя случайно встретился с матерью глазами – и тут же отдернул взгляд.

«И что из этого получится? Как она собирается поступить с этим прирученным чужим ребенком?»

Светлана Ивановна принялась допивать остывший кофе. Митя – рассматривать комнату. Потолок, стены, кухонные шкафчики. В любой ситуации можно весьма правдоподобно рассматривать общежитскую комнату. Даже если бывал в ней сотни раз. Даже свою собственную. Комната в общаге никогда не бывает достаточно знакомой, сколько в ней ни живи.

Светлана Ивановна вытащила из-под раскладушки свой самый большой чемодан, вынула оттуда аккуратную стопку одежды. Она принялась раскладывать одежду на раскладушке, и Митя невольно присмотрелся к тому, что она делает. Он сразу узнал каждую вещь. Ванюшкины штаны, шапки, даже несколько ползунков. Хранит... Ну да, подумал он, все вещи, из которых Ваня вырастал, она уносила к себе. Теперь Митя узнал и ту майку, что была на Саше, – когда-то он купил ее в «секонд-хэнде». Его первая покупка в «секонд-хэнде». Смущался. Особенно того, что покупает для ребенка.

– Подержи. – Он принял протянутую ему футболку. – В-воот, давай-ка переоденемся.

Митя незаметно улыбнулся. Звучало знакомо. Пружинистое «в-воот!» – не слово, а широкий вылет командармской шашки из ножен. Даже не глянув, во что его собираются переодеть, Сашка поднял руки вверх. «Ваня бы ни в жизнь не согласился так, не глядя... – подумал он. – Всегда рассмотрит, оценит – стоит ли, собственно...» Детские лопатки выдавились острыми треугольничками. Под натянутой кожей проступили бусинки позвоночника. Митя поднялся и вышел.

– Куда?

– В туалет.

– Писа, – объяснил Сашка.

Митя дошел до конца коридора и встал у окна. Футбольное поле, обрамленное заиндевевшими кленами, выглядело, как пустой холст в дорогой раме. Ноябрь был необычно морозный: зима пришла раньше срока. Он видел раньше, как деревья зимовали в листьях. После первого ночного мороза листья вот так же покрылись инеем, стали ненормально красивы, соединив живое и мертвое, теплую осеннюю желтизну и лед. Зима у осени в гостях. Это Ваня так сказал.

– Смотри, сынок, как интересно.

А Ваня присел к скамейке, усыпанной заиндевевшей листвой, и сказал:

– Пап, как будто зима у осени в гостях.

В последнем письме Ваня написал, что они хотели бы пригласить его в гости. *Не желаешь ли приехать в Осло, погостить у нас? На Рождество мы уезжаем, в феврале на первом этаже будет ремонт, приезжай в марте, потому что в апреле мы уезжаем в Берлин.* Сдержанно, как всегда. Бесстрастно, как расписание электричек. Ничего такого, ни «пожалуйста, приезжай», ни «буду очень ждать»... Дальше так же сдержанно – о том, что расходы они все оплатят, даже могут выслать заранее. Кристоф будет весьма рад и мечтает о дружеских отношениях. И если папа согласен, пусть ответит сразу, чтобы они оформили вызов и вообще... На лето у них есть планы, они на полгода переедут в Берлин – а может быть, останутся и на дольше, а в Берлине у них своего жилья нет, так что лучше бы не откладывать.

В марте! Будто нельзя было раньше написать!

Письмо было почти официальным, казалось, в конце просто забыли поставить печать. Наверное, подверглось тщательной правке со стороны Марины. Впрочем, все Ванины письма, скорей всего, подвергались такой правке. Ее можно понять. Ваня писал по-русски все неуверенней. Постскриптумы выдавали его. Он иногда дописывал постскриптумы к уже исправленным и переписанным письмам, втискивал пару неуклюжих фраз под безупречно правильные предложения. Эти строчки Митя прочитывал в первую очередь. Они были самыми живыми. Но и ранили острее всего остального. Больше рассказа о поездке с Кристофом в Австралию, про дайвинг среди пестрых рыб. (Теперь, если увидит по телевизору этих карнавалных рыб, на целый день портится настроение.)

Митя водит пальцем по строчкам, будто ища ответного прикосновения. *Я познакомился с красивой девушкой, ее звать Джен. Я стал учить немецкому языку. Завтра я пишу тест на математику, я знаю ее плохо...* Ваня всегда был честным. В пять лет, когда они жили еще в университетской общаге на Западном, выронил в окно стакан, стакан упал на машину директора студгородка. Никто не видел, но он пошел и повинулся. Таким он и остался. Если знает математику плохо, так и пишет: плохо знаю. Наверное, и преподавателю так говорит: плохо знаю ваш предмет, господин учитель.

Митя не мог себе представить, как он приедет к ним, как глянет Марине в глаза. Спустя столько лет. Она, наверное, совсем другая, и увидеть ее – незнакомую женщину, носящую в себе их общее прошлое, – будет странно. И еще там будет Кристоф, что, в принципе, ему простительно: это его дом. Как это вообще возможно – гостить у человека, который увел у тебя жену, сына, прекратил твою жизнь... Ложиться спать в его доме, быть может, напротив их

спальни – и прислушиваться всю ночь. Утром встречаться за столом, улыбаться друг другу милыми европейскими улыбками. Интересно, что эти Урсусы едят на завтрак?

Он краснел от мысли, что может согласиться на эту поездку. И знал, еще не дочитав того письма, что согласится, поедет – напишет ответ, и денег попросит выслать, и будет жить сначала ожиданием звонка, нового письма, оформлением документов, загранпаспорта, всякими бумажными казенными хлопотами, потом сборами к сыну, мечтами о том, как он увидит Ваню в шумном хаосе аэропорта – Ваня обязательно приедет в аэропорт...

После того письма он и отправился в ЖЭУ оформлять прописку и менять паспорт.

Когда Митя вернулся, Светлана Ивановна была одна. Комната утонула в сигаретном дыму. Она курила под форточкой, обхватив левой рукой локоть правой.

– Ты так и не куришь? – спросила, не оборачиваясь, и голос ее был совсем уже другим, медленным и холодным.

– Нет. Бросил.

– Молодец.

Она говорила таким голосом, когда хотела показать, что обижена. В детстве он обычно пугался и начинал просить прощения.

– Взяла майку, постираю. Мать его в больницу угодила. Что-то с печенью.

– Да, конечно.

– Я ему Ванюшину одежду отдаю. – И почти шепотом: – Нам одежда все равно не нужна.

– Да, конечно. Как твое лото?

Но лото не занимало ее.

– Гори оно синим пламенем, это лото, – обронила она. – Больше не играю.

Стало быть, проиграла, понял Митя. Судя по второй реплике, билетов покупала много и на последние. Все эти годы она играет в «Русское лото». У нее есть специальная коробочка из-под ксерокса, набитая билетиками, – целая коробочка билетиков. И играть она никогда не бросит. Однажды в девяносто пятом на Восьмое марта вот так, обидевшись на удачу, не купила билета и до сих пор жалеет. Как раз тогда, мол, и подошла ее очередь на счастье – да черт попутал. Пропустила. Теперь становись заново.

Она докурила, но, чтобы не оборачиваться, прикурила вторую. Она вообще-то обещала ему не курить по две сразу. Митя сел на табурет. Чемодан был убран, махровая простыня на раскладушке разглажена – никаких следов. Митя пожалел, что приехал к ней на ночевку. Идея была в том, чтобы встать с утра пораньше и идти в районную ПВС. Очередь туда занимают так же, как в ЖЭУ, часов с пяти. Пришлось бы тащиться через весь город, но к столь раннему часу ни за что не успеть. И он решил заночевать у матери.

Ее голос стал, как река подо льдом:

– Как он там? – Митя попытался отмолчаться. – Звонит? Пишет? – Он жалел, что приехал. – Прошлую ночь всю проплакала. Приснился мне. В красивом костюме, в каком-то большом помещении... Взрослый такой, волосы на пробор. – Митя поднялся и потянул с вешалки пальто. – Вокруг много людей, цветы. Почему-то цветы прямо под ногами, по всему полу разбросаны. И я, дура, нет чтобы к нему бежать – наклонилась их поднять, собрала охапку, поднялась, а он исчез. Я выронила... бегала по каким-то комнатам, кричала, звала... Если бы ты тогда, хотя бы тогда, один раз меня послушал, Ванечка был бы сейчас с нами, а не с ней. Если бы послушал!

Митя молча вышел.

На улице под ногами хрустнул иней, он постоял немного, выбирая, к какой остановке идти, и прямо по газону, по белой хрусткой траве, отправился в сторону торгового центра. По телу расплзлась усталость. Забыть бы все и никуда больше не ходить. Если бы не Ванино письмо, не эта жар-птица, порхнувшая из конверта, Митя, скорее всего, просто пожал бы пле-

чами и жил себе дальше. Мало ли какие законы сочинят шальные думские люди! Не упекут же в Сибирь. И в Грузию не вышлют. В Грузию-то не вышлют...

В этом месте Митя крепко задумывался. Весь он будто завязывался каменным узлом, теряя связь с происходящим и наглухо захлопываясь в самом себе, переходя в автономный режим и в самом себе находя все необходимое для жизни. Главное, там было припасено вдоволь воспоминаний, которые никогда не лишат гражданства, не отнимут права проживать в своих заоблачных республиках. Странная вещь: чем сложнее заворачивалось с его паспортом, тем ярче вспыхивали детские воспоминания, давным-давно, казалось, выгоревшие и остывшие в нем. Они уводили его туда, куда он не собирался больше возвращаться, и оставляли там в полнейшей растерянности. Много раз стоял он у запертой, запретной двери. За ней кипел праздник. Стоял, прислушивался к неясным голосам – ему бы туда. Детство говорило с ним через дверь, но было плохо слышно, а самое досадное – совершенно невозможно догадаться, о чем может идти речь. Не о паспорте же! Он закрывал глаза. Ну, что там, что? Пахло миндалем, что растет в военном городке за школой, летучие мыши метались над двором, будто кто-то безжалостно взбалтывал их в огромном невидимом ведре...

...до сих пор он умел совладать с разыгравшейся ностальгией. «Зачем нам в эти кружевные дебри, дружище?» – говорил он, стараясь возбудить в себе мужественность и инстинктивно напрягая бицепсы, будто кто-то собирался их пощупать. Но сегодня, когда все всколыхнулось из-за косоглазого Сашки, так жестоко напомнившего ему Ваню бусинками позвонков и острыми лопатками, Митя не стал отпугивать ностальгию мужественными мыслями и вдруг с удивлением обнаружил себя по ту сторону волшебной двери. Детство и не думало запирается от него. Он почувствовал какое-то новое родство с сыном, и с Сашкой, и с каждым из ведомых за руку, орудующих совками в песочницах, спорящих о драконах и умеющих верить взахлеб. Бесплезная взрослость – осмысленность, оплаченная утратой искренности, – осыпалась с него, как высохший песок. Трое мальчишек: Сашка, Ванька и он, мальчишка Митька, с веснушками и такими же острыми выпирающими лопатками, стояли рядом за запретной дверью, переговариваясь о чем-то своем.

И Митя понял, что они, эти хрупкие существа ростом метр с кепкой, – самое важное, что есть у мира, подлинная соль земли, и все самое значительное происходит именно с ними. Как бы ни сложилось потом, кто бы кем ни стал: рохлей или мачо, подлецом или хорошим человеком, – не важно. Совсем не важно, что из этого получится, – и только то, что отражается в их распахнутых глазах, падает дождем в их сердца, переливается и сияет в их мыслях, – только это имеет смысл. Все там, а то, что потом, – лишь затихающие отголоски...

...издалека слышался бабушкин голос. Она говорила через всю квартиру и немного возвышала голос, отчего он делался тоньше обычного. Митя жадно прислушивался, ожидая, пока голос отольется в слова, и надеясь, что на этот раз слова окажутся понятны. «Открой на кухне окна, – говорила она. – И потуши свет». Вслед за простенькой фразой просачивалась и проступала в красноватой пустоте под веками тбилисская квартира, его первый и последний настоящий дом: и бежевые обои гостиной – ярко, до малейшего завитка узора, и огромный трехведерный аквариум с полосатыми рыбками данио рерио, снующими туда-сюда стремительными стежками, будто в надежде сшить вместе лево и право... и все, все... Тюль занавесок вздувался, они оживали, подходили к его кровати, но тут пойманный ими ветерок выскальзывал и занавески падали замертво...

– Уснул. Смотри, не разбуди.

Девушки хохотнули и прошли мимо под навес остановки. Митя исподлобья огляделся, но больше никто из стоящих и сидящих на остановке людей не обращал на него внимания. Он сел на лавку под навесом и прислонился спиной к стенке остановки. Люди ходили перед ним, переговаривались, шипели и фыркали автобусы, но нужного ему номера все не было. Впрочем, нужен ли был ему автобус, который снова отвезет его в пустую квартиру?

да здоровствует блистательный Людовик, Король-Солнце

Когтями вперед, куполом выгнув крылья, с потолка падал филин. Дети смотрели заворуженно, невольно втягивая шеи.

– Проходите, проходите. – Леван отступал в сторону с каким-то физкультурно широким жестом.

Конечно, они его боялись. Может быть, весь двор его боялся. Не так чтобы по-настоящему... но все же. Он жил в их дворе очень давно. Наверное, всегда. Но все здоровались с ним, как с приезжим. Бывает, гостят у кого-нибудь родственники. Их познакомят с соседями, объяснят, кто такие и чем замечательны. Но с ними все равно будут здороваться серьезно, церемонно – в общем, как с приезжими. Но Леван как будто не замечал этого. Улыбался. Всегда улыбался. Он был Сам-по-себе.

Высокий, большоголовый, седая щетина на щеках. «Как абрек», – заключили они. Дома Левана застать было сложно. Говорили, он жил в Москве. Или разъезжал. А иногда он возвращался с большими деревянными ящиками, из которых торчало черт знает что – однажды, например, много разных рогов: как сплюснутые ветки, как шило с пупырышками, как скрученные винтом коровьи рога. Привезли на обыкновенном такси с разинутым багажником и выгрузили у подъезда, как какие-нибудь сумки с базара. Им было интересно, конечно, но они глазели издали. Леван был профессор. Или академик. Об этом как-то раз серьезно поспорили: профессор или академик? Спорили на жвачку. На пачку «Ригли». Чтобы разрешить спор, даже подошли к Левану, спросили. А он в ответ: «Профессор, академик... Берите выше. Действительный статский советник по рогам и копытам!» Он был странный.

Но вот все изменилось. Его разъезды вдруг закончились, Леван стал жить дома, как обычные люди. Тогда-то и заметили за ним чудные вещи. Выйдет утром из подъезда и встанет, смотрит на деревья. В деревьях солнце. Он щурится и смотрит, смотрит – будто что-то хочет разглядеть. Но там ничего нет, в деревьях, – только солнце и воробьи. Скажешь ему тихо:

– Здравствуйте.

А он дернется, будто его разбудили, и заулыбается.

– Здравствуй, дорогой! – и энергично моргает куда-то вниз, вверх, снова вниз, будто пытается вытрусить солнце из глаз. – Не вижу тебя. Совсем не вижу... Послушай, ты когда-нибудь видел зуб дракона? Идем, покажу. Правда, молочный, но все-таки...

– Да не бывает драконов.

– Ваххх! Мальчишка! Кому ты это говоришь! Вот, вот этими самыми руками... – Он растопыривал волосатые пальцы. – Из его гнезда вытащил. Видел бы ты эти скелеты там... кости, как на мясорубке. – Он прижимал ладонь к ладони и прокручивал.

– А что, у драконов гнезда?

– Хм, да ты совсем необразованный какой-то. Ты в каком классе?

Он часто выпивал. Когда он выпивал, стоять возле него становилось опасно, как возле работающего экскаватора. Он вертелся, что-то изображая, разбрасывал руки, точно вовсе хотел их выбросить. Вообще он был такой, будто его взорвали – и вот он разлетается во все стороны.

Может быть, они никогда и не решились бы зайти. Но он знал, как их приманить. Вынес горсть конфет и подождал немного. (С тех пор он часто так делал. Просто выносил горсть конфет в раскрытой ладони и становился под деревом, словно вышел покормить птиц. А Леван и птиц кормил точно так же, можно было спутать – подбежишь, а у него не конфеты, а крошенный хлебный мякиш. Тогда он высыпал хлеб на асфальт и шел за конфетами.) И были это не какие-нибудь ириски или карамель, а «Мишка на севере», «Белочка», «Каракум». («И где только достает, – говорили родители. – Неплохое у профессоров снабжение». – «А Леван –

настоящий профессор?» – сомневались они. «Ну да, – отвечали родители, – настоящий. Или академик».)

– Не разувайтесь, так проходите, – махал им Леван.

А никто и не собирался. Нельзя было представить, что в его доме, как в каких-нибудь праздничных гостях с нарядным хозяйским ребенком в дальнем углу, следует разуваться или там идти мыть руки. Проходя под когтями филина, они были готовы увидеть что угодно. Не дракона, понятное дело, – драконы если и жили когда-то, то давно уже вымерли. Но коня – запросто.

Жилье его было таким же странным, как и он сам. Его трехкомнатная квартира скалилась, бодалась, блестела из каждого угла внимательными стеклянными глазами. Пройдя прихожую и свернув налево в распахнутую дверь, они оказались в музее. Под потолком парила стайка летучих рыб. Еще три рыбешки на длинной лакированной подставке, на разной высоты штыхрах, летели над столом. Из-за кресла скалился волк. В стеклянном шкафу с замочком стояли ружья. Разные. Старинные. С красивыми прикладами, очень длинные и, кажется, инкрустированные золотом. (В его квартире, говорили, стояла сигнализация, как в магазине.)

– Все в рабочем состоянии, парни. А из этой симпатичной пищали я однажды подстрелил орла, который утащил ребенка.

– Ребенка?!

– Чуть младше тебя. Да, утащил ребенка. Под Коджорами дело было, я как раз от старого приятеля ехал, специалиста по пищалиям, на реставрацию возил, ну. Да... Только к деревне свернул, вижу, люди мечутся...

Митя неотрывно смотрел в запрокинутую пасть волка и слушал Левана невнимательно. Чувства его расплывались. Бывает, рисуешь акварелью на мокром листе, и краски никак не удержат в намеченных контурах. Эти звери и рыбы, такие настоящие, но неживые... забавные, как у царской стражи из телесказок, ружья, которые охраняет настоящая милиция, потому они в рабочем состоянии, – все это повисало в воздухе. Не укладывалось ни в правду, ни в обман – застревало где-то между. Как было относиться к Левану с его рассказами о драконах или дружбе с правнуком д'Артаньяна, от которого, видите ли, этот мушкет? Но ведь мушкет – вот, лежит у Левана на коленях. А на рукоятке – лилии.

В спальне из стены торчала голова бегемота. Маленькая.

– Карликовый бегемот, – сказал Леван, шлепнув по коричневой бегемотьей щеке, как по мешку с песком.

Но они не поверили, что карликовый. Подумали – детеныш. Жалели: зачем же детеныша?

Леван достал с шифоньера страшные акульки челюсти и, взявшись снизу и сверху, пощелкал ими перед каждым.

– Ну? Кто самый смелый? – улыбнулся он и, не дожидаясь добровольцев, скомандовал самому ближайшему: – Положи сюда пальчик, – и сам вставил между зубов свой палец.

Шесть рядов костяных сабель, шесть шеренг кровожадных штыхов готовы были сойтись на хрупких человеческих фалангах... Страшно было только в первые разы. Скоро все уже знали, что челюсти – главное, не дергаться – захлопываются, не задевая пальцев. Но Леван неизменно спрашивал, кто самый смелый, и лез на шифоньер, и щелкал акулькими челюстями перед публикой.

– Испугался? – Отсмеявшись, Леван качал головой и говорил: – Даа, а когда я свалился к ним за борт, совсем не смешно мне было...

У него была дочка Манана. Красивая, но не замужем. Росту в ней было немного, некоторые девочки во дворе были выше нее. А когда она собирала волосы в два хвостика по бокам – кикинеби, как это называлось, – то и сама превращалась в девочку. Но ей было, наверное, тридцать лет. Или сорок. От нее всегда пахло духами, и она носила большие красивые перстни. Манана любила, когда заставляла у отца гостей.

– А, детки, – говорила она и хлопала в ладоши, – сейчас чай сделаю.

Торопливо разувалась, расстреливая туфли по коридору, и босиком шла в ванную мыть руки. И если дверь оставалась открытой, было слышно, как о раковину одно за другим стучат снимаемые перстни – цок, цок, цок – и маленькое колечко в виде змеи – дзззинь. От чая они чаще всего отказывались: Мананы они стеснялись. Было совершенно непонятно, как про нее нужно думать: как про учительницу или, например, врача из поликлиники – или как про девочку с кикинеби... И к тому же иногда она стояла в дверях кухни и смотрела на них так печально, что становилось не по себе. Так что они убегали во двор, обсуждать увиденное и спорить, можно ли из пиццали попасть в летящего орла и не задеть ребенка.

Листья ржавели и желтели, шелестящим ковром застилали асфальт. Небо в остроугольном кружеве веток теряло цвет, сыпались иголки дождя. Сыпался и укрывал улицы мягким ослепительным одеялом снег – и, превратившись в бурю, жижу, чавкал по дороге в школу. А потом в воздухе растекался весенний хрусталь, по-новому преломляя нарождающиеся краски и звуки. А потом дети выросли.

Леван больше не выходил с конфетами в раскрытой ладони. Он стал носить очки с толстыми линзами. К мальчишкам, заговорившим ломкими басками, он обращался с легкой грузинской церемонностью, иногда на «вы». Пожимая им руки, притворно морщился:

– Не жми, вай мэ, не жми так!

Митя тоже стал немного Сам-по-себе. Дворовая компания все меньше привлекала его. И принимала все более отстраненно. Как приезжего. Митю это волновало, но поделать он ничего уже не мог. Самопалы, стрелявшие от серных головок, и гонки на велосипедах безвозвратно обесценились для него. Митя начал читать. («Слава богу, мальчик начал читать», – говорила мама бабушке, тихонько прикрывая дверь.) Обретенная способность перемещаться в чужой мир, перевернув обложку и заскользив глазами по строчкам, удивляла Митю безмерно. Казалось, к этому невозможно привыкнуть – и этим нельзя насытиться. Он прибежал из школы, забирался с книгой в кресло и просиживал так до вечера – пока его насильно не утаскивали за стол.

Но Леван притягивал его внимание. Увидев его в окно, Митя закрывал книгу и подолгу наблюдал за ним. Странное дело, противные мурашки жалости покрывали его при виде старика, сощурившегося на солнце. Сердце, к тому времени изрядно натасканное русской литературой на страдание, чувало его здесь, но не в силах было обнаружить.

Леван по-прежнему любил рассказывать. Истории его были длинны и художественны. Чтобы успеть досказать, пока слушатель не решит ускользнуть, Леван торопился, высыпал слова кучками – впрочем, всегда изящные, надлежащим образом ограненные. Часто наклонялся к лицу слушателя, и его глаза под сантиметровыми линзами делались невозможно большими – как рыбки в круглом аквариуме, подплывшие слишком близко к стенке. Заметив невнимательность, он хватал человека за руки, мял в тяжелых ладонях, похлопывал, бросал, чтобы снова схватить, и, досказав, смеялся сочным басом. Он стал пить особенно часто – и Манана неутомимо ссорилась с ним по этому поводу. Бывало, идет с набитыми сумками по двору, здороваётся с соседями – и все сочувственно смотрят вслед. Знают: раз Левана целый день не видно, значит, пьет.

Ссоры проходили «в одни ворота». Левана никогда не было слышно. В перепалку с дочкой он не вступал. Видимо, каждый раз переживал молча. Сидит, наверное, в кресле и поглаживает волка по загривку. Сначала она кричала, потом умоляла, потом плакала. И каждый раз, застав отца пьяным, начинала все заново.

Леван, когда пил дома, во двор не выходил. И дверь никому не открывал. Прятался. Он появлялся на следующее утро. В отутюженных брюках, в начищенных ботинках, бритый, выходил кормить воробьев.

– Вчера к другу ездил в гости.

– А, поэтому тебя не видно, не слышно было.

Но когда Леван пил в компании, все складывалось совсем иначе. От вина он детонировал. Летними вечерами, благодушно-ленивыми, полными сверчков и ласточек, мужчины устраивались во дворе, за железным столиком под ветвями гигантского тутовника. Тутовник был настолько стар, что рождал плоды мелкие и прозрачные, со вкусом бумаги. Зато тень под ним держалась весь день, и к вечеру там было самое прохладное место. Обычная пьянка – без Левана – проходила вполне заурядно, как собрание в школе. Собирались быстро. Стелили газеты, раскладывали простенькую закуску, кто-нибудь выносил посуду.

– Сандро, Сандро! – кричала, высунувшись в окно, тетя Цира. – Иди сюда! Какие ты бокалы взял?! Ты хрустальные взял. Иди возьми простые.

В руках у нее зажаты в охапку граненые стопари.

– Ааа, брось, женщина! – Сандро передергивает плечами, одновременно усмехаясь, что его уличили столь быстро. – Ей в КГБ работать, клянусь, – говорит он, ставя бокалы на стол. – Так и живу со следователем. Ну, было у меня настроение из хрустальных бокалов выпить! – обращался он снова к Цире. – Зачем сирену включать?!

– Князь ты авлабарский, – ворчит Цира, отходя от окна. – Последние бокалы разбей.

Услышав оживленный, с позвякиванием и подшучиванием, шум затевающейся пьянки, Леван выходил во двор. Мужчины, как положено, тут же приглашали его к себе – а все же с некоторой заминкой.

– Сейчас в магазин схожу, – говорит он, чем вызывает общее раздражение.

– Какой магазин! Иди садись, все уже есть... Эх, Леван, дорогой, слишком долго ты в Москве жил!

Он быстро наполнялся до края. Чувства, словно весь день просидевшие на цепи овчарки, метались в нем и придавали массу ненужных порывистых движений. В глазах его появлялся мокрый блеск, и ему становилось трудно дослушивать чужие тосты. Он сидел некоторое время тихо, глядя сквозь линзы неподвижными, несоразмерно большими глазами. И вдруг вскакивал и убегал домой. Все уже знали, в чем дело.

– Сейчас будет.

– В прошлый раз слишком громко получилось, а? Моя теща с дивана свалилась.

– Они у него разные, по-разному стреляют.

– Вот то, длинное, с оленями, самое громкое, по-моему.

– Ты, наверное, того не слышал, которое спереди забивать нужно.

– Заберут его когда-нибудь, заберут.

– О! Сегодня вон какое выбрал.

В руках у Левана длиннее ружье с расширяющимся к концу дулом. Кажется, такое называется пищалью – или мушкетом, у него их штук десять, и все в рабочем состоянии. Он заряжает их разной металлической мелочью вроде шурупов от конструктора.

– Да здравствует император Чжуаньцзы! – кричит он.

И раздается оглушительный, вполне пушечный выстрел, от которого смолкают сверчки, у стоящих поблизости мальчишек закладывает уши, а над крышей молканского дома рассыпается, хлопая крыльями, голубиная стая. Леван убегает с ружьем наперевес.

– Заряжать понес, – комментируют зрители.

Но во второй раз вслед за Леваном выскакивает Манана. При людях она на него не кричит. Стоит рядом, заткнув уши, дожидаясь, когда громыхнет.

– Да здравствует блистательный Людовик, Король-Солнце!

– Леван, – кричат ему из-за столика, – «воронок» уже выехал!

– И Людовика под статью подведешь, неудобно будет.

Разгоняя рукой пороховое облако, Манана спешит увести отца домой и виновато улыбается выглядывающим в окна соседям – мол, вы уж извините, извините. Заперев отца на ключ,

она возвращается во двор и подходит к мужской компании. Стоит, держа спину чересчур прямо. Как ни старается она сдерживать голос, но слезы так и kloкочут.

– Я же просила вас, ну я же просила. Нельзя ему, понимаете, совсем нельзя. Врачи сказали, от алкоголя это в любой момент может случиться. – Мужчины мрачно молчат. – Пожалуйста, я ведь просила.

Манана собирается еще что-то сказать, но слезы напирают. Мужчины сидят понурые.

– Мы не врачи, чем мы ему поможем? Если и в Москве не помогли... Но разве лучше человеку пить взаперти, скажи? Все скажите.

И все соглашаются, что – нет, нельзя пить человеку взаперти.

Он начал готовиться к слепоте заранее. Купил тросточку и черные очки.

По утрам, покормив воробьев, он зажмуривался, выставлял вперед эту длинную суставчатую палочку – и шел по двору. Стук-стук, стук-стук. По кругу вдоль бордюра, огораживающего дворовый сквер, подглядывая на поворотах. Это жуткое упражнение он заканчивал, когда дети начинали выходить в школу.

– Здравствуйте.

– Здорово, ранняя пташка, – отвечал он. – Я вот решил в фехтовании поупражняться, – и вскидывал перед собой палочку на манер шпаги.

Леван ослеп осенью. «Наверное, особенно страшно ослепнуть осенью, – решил Митя, – когда шуршат листья». Его сначала увезла «скорая», а через пару дней он вернулся, уже настоящему слепым. Он выходил, мелко стуча перед собой тростью, и, добравшись до бордюра, огораживающего внутренний сквер, шел по кругу. Стук-стук, стук-стук. Первое время все затихало, заслышав его приближение. Особенно той осенью, сиротливо-сырой и тихой. От него нетрудно было спрятаться, достаточно было замолчать и дышать потише. Леван проходил мимо. Стук-стук, стук-стук.

Он садился за столик под тутовником, прятал руки в карманы плаща и сидел так подолгу, совершенно неподвижно. На стол перед ним падал сухой лист, он находил его и зачем-то растирал в пыль. И, вернув руки в карманы, снова делался неподвижен, как одно из обитавших у него дома чучел. Его оружейную коллекцию куда-то увезли. Погрузили в черную «Волгу», человек в фетровой шляпе расписался в каком-то листке, отдал листок Манане. Манана позвала отца:

– Папа, попрощаться не хочешь?

Но Леван неопределенно мазнул рукой по воздуху и остался безучастно сидеть на своем неизменном месте под тутовником, и не шевельнулся даже тогда, когда «Волга» хлопнула дверцами и завелась.

Во дворе постепенно привыкли к его положению, перестали от него прятаться.

– Здравствуй, Леван.

– Здравствуй и ты.

– Не холодно тебе здесь? Целый день все сидишь, сидишь. Я покурить выхожу и то замерзаю.

– Я не просто так сижу. Дело меня греет.

– Что за дело?

– Мы с этой старой корягой, – кивал он на тутовник, – зиму торопим. Вдвоем веселее. Хотим вот весны дожждаться. Ласточки, знаешь ли, трава, вино... Крррасное, как кровь.

– Рано же ты о весне вспомнил.

– Никогда не рано. Будете же вы вино пить? Как потеплеет?

– А то!

– Меня пригласите?

– Что за вопрос... Жаль, нечем теперь будет в честь Людовика бабахать.

– Вот и я говорю, весны дожждаться, дожждаться весны.

Но он не дождался. После тихой осени в том году пришла такая же тихая, но на редкость долгая, нудная и слякотная зима. Он умер двадцать девятого февраля. Шел холодный дождь, над гробом держали зонт. Митя стоял у окна и провожал похоронную процессию пристальным взглядом, будто искал там подтверждения каким-то своим мыслям.

Ветер-живодер выковыривал их из одежды, как устриц из панциря. Заглатывал целиком. Утренние, мягонькие, озябшие декабрьские тельца. Ежеминутно летящие в холодную влажную глотку, они морщились, вздыхали, прятались за выступами стен. Серое акварельное небо лежало на высотках, к ногам то и дело прибывало мусор с рынка. Принимать начнут с девяти, но чтобы попасть, нужно занимать пораньше. Митя пришел в шесть и был двадцать восьмым. Здесь, как и в ЖЭУ, записывались на листках. Листки приклеивали к дверям скотчем. Скотч приносили с собой. Ручки Митя не захватил и решил ждать, пока к списку подойдет следующий, чтобы попросить ручку у него. Ждать пришлось долго. Он стоял возле самой двери на догнивающих ступенях, шатких, как трясина, ветер обсасывал его со всех сторон. Наконец на тротуар въехала выдавшая виды «восьмерка», из нее вылез крупный мужичок лет сорока. Мужичок знал, что к чему, на ходу доставал из кармана ручку.

– Извините, не одолжите? Записаться нечем...

Мужик наградил его обидным – и вроде бы оскорбительным, а в общем-то, привычным, как «... твою мать», взглядом и, молча вписав себя, так же молча протянул ручку Мите. Теперь Митя был тридцатым. Снова он подумал, что делает все не так. Не умеет. Ничего не умеет делать правильно.

Пристрастие к записыванию на листках, что и говорить, выглядело странно. Ведь как только начинали пускать, рассредоточенная толпа лавиной сваливалась к заветной двери, и список как-то сам собой терял актуальность.

– А у вас какой номер?

– Да мне только спросить.

И ветер не отставал, и укрыться за кирпичными выступами было негде. Митя подумал, что зря перед выходом пил чай, теперь чай естественным образом просится наружу.

В половине десятого позади толпы раздались строгие окрики:

– Пропустите! Пропустите, блин!

Старушка в криво надетом желтом парике, не разобрав, прошамкала:

– В какую комнату? Тут очередь.

– Да я шас на х... развернусь, и вся эта очередь домой отправится!

Переступая по-пингвиньи, давя друг другу пальцы, очередь нехотя раздвинулась.

Девушка лет двадцати в густом вечернем макияже, сине-золотом, скривив яркие губы, взглянула в предоставляемый ей тесный проход, сказала: «От ить, бараны!» – так смачно и хлестко, как про самих баранов никогда не говорят. Три хмурые тетки, стоявшие возле девушки-с-макияжем, очевидно, были ее коллеги. Она прошла, твердо ставя каблук, к двери, звякнула ключом в замке, провернула, вынула, размашисто распахнула дверь, загудевшую о чьи-то кости, кинула связку в сумочку, застегнула сумочку. Дернула спиной, будто отряхивая насекомых.

– Да че напираете, блин!

– Можно заходить?

– Вас пригласят.

– Так холодно же...

Девушка-с-макияжем уже почти вошла, ее хмурые коллеги двинулись следом, но кто-то пробубнил:

– Пригласят... Когда пригласят-то? Уже полчаса как должны работать.

И она, отодвинув своих стремительным рубленным жестом, вынырнула обратно, зорко оглядела толпу.

– Кто тут умный у нас такой? А?!

Никто не отзывался.

Но взгляд ее безошибочно выудил из плотных шеренг синий потертый берет, очки с обмотанной грязным лейкопластырем дужкой, дикорастущие усы под посиневшим носом. Она тяжело кивнула и скрылась в помещении. Толпа стянулась к открытой двери.

– М-да, – сказал мужик из «восьмерки» синему берету. – Она тебя запеленговала. Мой тебе совет, мужик: иди домой и раньше, чем через неделю, не приходи. Может, забудет.

– Тьфу ты, будь оно неладно! – Берет постоял в раздумье и медленно поплыл прочь.

Пригласили в начале одиннадцатого. Вяло переругиваясь, люди потащились по холлу и, разделившись на три потока, дальше по узеньким коридорам, увешанным плакатами, листами, листочками. Высмотрев нужный кабинет, оседали здесь, налипали на стену, врубались плечом в дверной косяк. «Нужны присоски, – думал Митя. – Нам бы присоски... пиявки, коридорные пиявки... что-то матушка-эволюция не торопится, запаздывает... присосались бы сейчас – и хорошо». Мочевой пузырь давил на глазные яблоки. Шмат людей, втиснутый между стен, источал усталость и панику, вялотекущую, подспудную, но готовую пыхнуть по первому же поводу. Митя нюхал меховой воротник, неожиданно пахнувший пивом, о колено его, как плавник большой рыбы, бился дипломат. Из множества ощущений, наполнивших его, только одно было приятно: основательно подмороженные ягодицы оттаивали у батареи.

– Третий день не могу попасть.

– У вас что?

– Ребенок. Надо срочно гражданство оформить. А они запрос теперь делают по месту рождения.

– Зачем?

– Кто ж их знает... Вы можете это понять? Я не могу это понять. А он у меня во Владивостоке родился. Представляете, сколько времени уйдет, пока эти напишут, а те ответят... А его пригласили по обмену на три месяца. Если за месяц не управимся...

– Ну, это вам к начальнику надо.

– Думаете?

– Знаю.

Митя решил к начальнику сегодня не идти. Решил – безо всякой на то причины, наобум, как в незнакомой карточной игре, – начать с малого, с инспектора по гражданству. Ему понравилось название, веское и категоричное: «Инспектор-По-Гражданству». «Инспектор такой-то. Предъявите-ка ваше гражданство!»

Они стояли у двери номер два минут двадцать, но никто не звал их вовнутрь. Мочевой пузырь висел в нем чугунным якорем на тоненькой леске. Скоро терпеть стало совсем невозможно.

– Извините, а где тут туалет?

– Шутить? Какой туалет? Вишь, даже стульев нет, чтоб присесть. Туалет ему где!

Через некоторое время открылась дверь. Открылась с размаху и, как ложка о холодец, чавкнула о толпу. Никто не издал ни звука. Послышалось лишь коллективное шарканье подошв.

– Разошлись! – рявкнул из-за приоткрытой двери знакомый голос. – Дорогу дайте!

Она вышла напрямиком на чью-то ногу.

– Да убери свои чувяки, дай пройти!

Движения были нарочито резкие и свободные. В руках у нее был чайник. Она рассекла толпу и скрылась за поворотом.

«Почему опять? Почему я здесь? Почему я оказался здесь? Почему, как ни сопротивляйся, все равно тебя отыщут, вынут, встряхнут и сунут в самую гущу, в ряд, в колонну, в злые потные очереди? Кто последний? За чем стоим? За гражданством? Почему дают? Зачем это? Почему так и только так? Снова и снова – как бы мы ни назывались. Православные, советский народ, россияне... А будет все одно и то же: толпа, Ходынка, очередь. Бесконечная очередь за нормальной жизнью. Очередь, давно ставшая формой жизни. Кто ты, очередной? Какой твой номер? Очередь отпочковывается от очереди, пухнет, пускает новый побег. Растет новая очередь. И вбок, и вверх, и вниз – ветвятся, тянутся к своим кабинетным солнышкам. Что дают? Гражданство. Вам надо?»

Митю мутило тяжелым, тупым возмущением. Он пытался его подавить, проглотить, отвернуться от него, как в детстве отворачивался от странных страшных теней в спальне. Нет, не помогало. Так же, как в детстве – не помогало. В узком коридоре стояла зудящая тишина. Спрессованные люди молчали. Говорить здесь было так же опасно, как курить на бензоколонке. Потели и молчали.

Она вернулась – так же размашисто, цепляя локтями и расплескивая из чайника. Митя преградил ей дорогу.

– Извините, когда прием начнется? – Она была бы симпатична, если б не крикливая косметика и этот взгляд. Ровный плоский блеск оптических приборов: к микроскопу приклеили ресницы и подвесили вишневые губы. Митя давно отвык от таких взглядов. Вдруг вспомнился замполит Трясогузка на политзанятии: звонко выкрикивая номера и подпункты статей, он только что рассказал им, кого и за что на прошлой неделе отправили в дисбат – и теперь медленно обводит их взглядом. Не смотрит, а осматривает. Проворачивает окуляры. – Уже, кажется, давно время приема?

Окуляры скрылись под ресницами, сверкнули еще раз – она обогнула Митю и вошла в кабинет.

– Чай будут пить.

– Чтоб им захлебнуться.

Сзади Митю толкали входящие и выходящие. Инспектором по гражданству оказалась именно она. Пока она говорила по телефону с гостившей у нее подругой, забывшей на холодильнике свой мобильник, Митя нервно огляделся. Ему совсем не интересен был этот пропахший дезодорантами кабинет. Но в туалет хотелось невыносимо, и, дожидаясь внимания инспектора по гражданству, нужно было чем-то отвлечься. В кабинете номер два принимали четыре инспектора. Молодые девушки. Стульев перед их столами не было, так что посетители оставались стоять. То и дело они наклонялись, чтобы положить какую-нибудь бумажку. Те, кто плохо слышал, и вовсе не распрямлялись, так и зависали в полусогнутом состоянии, целясь ухом в направлении инспекторских голов, чтобы, не дай бог, ничего не пропустить. В глазах у Мити от сдерживаемого из последних сил желания наворачивались слезы – и когда он в отчаянной попытке себя отвлечь смотрел сквозь их пелену, начинало казаться, что он стоит в заводском цеху и каждый стол, над которым нависает, сгибается-разгибается спина, – станок.

Наконец она повесила трубку и села, положив скрещенные руки на стол. В вырезе ее кофты вздувались и раздавливались друг о друга два белых купола. Но ни одной мужской мысли они в Мите не породили, как если бы из кофточка выглядывали гипсовые шары, абстрактные геометрические фигуры.

– Вот, – он неслышно вздохнул и выложил паспорт. Говорить нужно было быстро. И не только из-за острых позывов в низу живота. Ведь он в казенном заведении. Он проситель. А хороший проситель проворен, как голодная мышь, – совсем недавно Митя имел возможность освежить это почти забытое советское знание. Заранее готовьтесь к входу, товарищи. Просите быстро, не задерживайте движения.

Она взяла паспорт, начала торопливо листать.

– У меня вкладыша нет, а прописка в девяносто втором была временная, а вообще я здесь живу с восемьдесят седьмого, я учился здесь, в университете, в армии отслужил...

Чем дальше он говорил, тем противнее становился самому себе. Все обязательные метаморфозы были налицо: спина ссутулилась, интеллект угас, и в горле рождались какие-то пiski, которые нужно было с ходу переводить на человеческий язык. Пробовал кашлять, басить, но ничего не получалось. Сами слова, которые он произносил, стоя здесь после многочасового ожидания сначала на ледяном ветру, потом в потной тесноте, с холодными ступнями и гудящим мочевым пузырем, невозможно было произносить иначе.

Мысль о писсуаре истязала его.

– А почему вы сюда пришли?

Он не сразу понял, что она имеет в виду.

– Что – почему?

– Ну почему вы пришли именно в нашу ПВС, а не в Ленинскую, например? Мы не оказываем услуг лицам, не прописанным в нашем районе. До свиданья.

– Так вы же меня и не прописываете.

Она развела руками, отчего верхняя пуговица чуть было не расстегнулась, наполовину выкатившись из петельки.

– Не прописываем, значит, не видим основания.

– Вы меня послушайте. У меня пенсионное есть, ИНН, все в порядке, и я помню, в девяносто втором, когда тот, старый, закон вышел, я ходил в паспортный стол за вкладышем, но мне его не дали, сказали, что не положено – как раз из-за временной моей прописки. Это же за замкнутый круг...

Митя торопился, паника уже гнала его по своим горящим лабиринтам. Она со вздохом откинулась на спинку стула и каким-то лихим спортивным жестом швырнула ему паспорт через весь стол.

– Следующий!

– Подождите, подождите. Как? Как – следующий? А мне что делать?

– Идите к адвокатам.

– К каким адвокатам?

– Хм! К адвокатам!

– Вы хотя бы выслушали меня.

– А что вам непонятно? Согласно принятому закону, гражданином России признается тот, кто имеет вкладыш о гражданстве либо постоянную прописку на... – Она запнулась, видимо, забыв дату. – В девяносто втором году. Ни того, ни другого у вас нет. До свиданья.

– У меня же постоянная прописка буквально через полгода, даже меньше. Неужели из-за этого... Мне же вкладыш тогда не дали как раз из-за временной прописки. И потом...

– Вы приехали к нам с территории иностранного государства.

– Какого такого иностранного? Тогда одно было государство, СССР называлось. Может, слышали? В школе не проходили? И потом ведь в том старом законе говорилось, что гражданином признается каждый, проживающий на территории России, кто не подаст заявления об отказе от гражданства. Я не подавал.

Она с удовольствием пронаблюдала за его срывом, сказала:

– Ну, раз вы такой умный, можете обойтись и без адвокатов. На книжном рынке на стадионе «Динамо» вы найдете всю необходимую литературу. Следующий!!

Сзади скрипнула дверь, пахло, как из спортивной раздевалки. Так же, как в ЖЭУ, кто-то с ходу принялся ворчать, чтобы он не задерживал, он ведь тут не один, с ночи стоим, а если каждый будет задерживать... Митя лишь пожал плечами, сунул паспорт в карман и выскочил.

– Следующий!

Он стал протискиваться к выходу. В голове раскручивалась безумная карусель, все мелькало и рвалось, и в этих лоскутках мыслей о своем новом непонятном статусе, о срывающейся поездке к сыну одна-единственная мысль занимала его по-настоящему: «Где бы отлить?!»

Олега он встретил, в блаженной неге выходя из-за гаражей. Учитывая их расположение у глухой стены, сомнений в том, что он там делал, не возникало. Заметив, что из-за крайнего гаража вытекает резвая струйка цвета реки Хуанхэ, Митя смутился еще больше и неожиданно для самого себя поздоровался. Он привык не замечать на улице своих бывших сокурсников. Даже если оказывался с кем-нибудь бок о бок, даже если в узком переходе его вдруг выносило напрямиком на чье-нибудь приветливо улыбающееся лицо. Нет, не замечал, с задумчивым видом скользил мимо.

Но не на этот раз. Отвернувшись от сворачивающей к ним струйки, они пожали руки, похлопали друг друга по плечу. Рукопожатие у Олега было удивительно ломкое и юркое – будто накрыл ладонью шустрого нервного зверька, зверек хрустнул и тотчас рванул на волю. И тотчас Митя вспомнил, что всегда замечал эту черту Олега, не любил здороваться с ним за руку, но здоровался, чтобы не обижать. Университетская жизнь – античная, ископаемая, погребенная под пластами сторевавшего времени – вдруг оказалась вполне живой, прыснула соком из-под беглого рукопожатия, окружила стенами, лицами и голосами. Посыпались живописные подробности, в основном совершенно никчемные – чем никчемней, тем живописней. Говорят, у Олега отец – из КГБ, Олег на прямой вопрос отнекивается с двусмысленной улыбкой... с ним никогда не видели ни одной девчонки, поэтому ему несколько не доверяют... почему-то прозвали Чучей, никто не помнит, почему... на госэкзамен он пришел в галстук-бабочке, в галстук-бабочке из черного бархата...

– Ну, как ты?

– Отлично. – Олег сунул барсетку под мышку. – А ты? Как у тебя дела?

– Бывало лучше, только не помню когда.

– А что так?

И это тоже было против всех его правил. Обычно Митя не рассказывал посторонним о своих проблемах. По крайней мере тем, от кого не зависело их решение. Но в тот раз он поступил совершенно анекдотично. На вопрос-междометие «как дела?» ответил подробно и обстоятельно, жестикулируя и заглядывая в глаза. Прохожие огибали их, сходя с тротуара. Олег слушал на удивление живо. Поддакивал, уточнял. Он оказался на редкость сведущ в вопросах такого рода. В конце концов он раскрыл барсетку, покопался там, но огорченно поджал свои сырые выпирающие губы.

– Нету. В кабинете забыл. Сегодня как раз новые привезли. Хотел тебе визитку дать, – и пошел энергичным деловым речитативом: – Приходи ко мне в понедельник, утром, принеси документы. Решим вопрос. Приходи в «Интурист», встретимся там, лучше всего в фойе. Давай в фойе. Не люблю в кабинете.

Выслушав, Митя помычал:

– М-м-м, – и стал беззвучно жестикулировать, будто руками пытался вынуть из себя слова. Наконец спросил: – А-а-а... ты где работаешь?

– В «Интуристе».

Олег не торопился с комментариями. Достал блокнот, вырвал листик, записал номер телефона.

– На. Домашний. Не сможешь в понедельник, позвони мне домой, договоримся.

– В «Интуристе»?

– Ну.

– А-а-а?

– Зам генерального у Бирюкова. В понедельник приходи, поговорим. Сейчас извини, старик, некогда. Скоро машина подойдет, а мне еще надо кое-что успеть. Пока!

«Да, – подумал Митя, глядя вслед провалившейся в темноту подъезда фигуре, – вот тебе и Чуча». Спрашивать, какое отношение может иметь гостиница «Интурист» к его «вопросу», Митя не стал. Дураку понятно. «Интурист»! Одна из тех добавочных шестеренок, подключив которые, можно вертеть «вопросы» в любую сторону. Всегда полезно иметь такую добавочную шестеренку, а вот этого-то у Мити никогда не было. Но Олег каков! Сто лет не виделась, а он! Молодец.

Митя осыпал голову пеплом, укусил губу, сделал множественное хакакири, назвал себя Идиотом Идиотычем – в общем, поклялся измениться. Все, не узнающие на улицах бывших однокурсников, были преданы анафеме. «А если бы, как обычно, прошел мимо? – ужаснулся Митя и подумал: – Все-таки нехорошо так. Нельзя так с людьми. Они ж не виноваты, что когда-то населяли твое прошлое. Нельзя же их вот так заживо... Они живые. Они сегодняшние. И очень полезные».

Митя шел дворами. Ветер нес изморось, мокро хлестал по щекам. Он, как мог, уворачивался от влажных пощечин, по-черепашьи, как в панцирь, втягивался в пальто. Но ветер все равно пробирался под воротник, противно трогал между лопаток. Мысли его были далеко от девушки-инспектора, швырнувшей ему паспорт через стол.

Как не удивляться забавной математике жизни! Всем этим совпадениям-стечениям – линиям и точкам великого уравнения, не уместяющегося ни в глазу, ни в мозгу. Забавляется жизнь, то изящно, то нелепо сводя прошлое с настоящим. Когда-то Митя познакомился с Олегом при обстоятельствах, связанных с одним весьма неудачным актом мочеиспускания.

До того вечера Митя его не знал. Слышал, что есть такой Чуча, который, когда выпьет, сначала отрубается, а потом внезапно просыпается и выкидывает что-нибудь умопомрачительное. То схватит кастрюли и бежит, гремя ими, по общаге – тревога, мол, по кораблю, вражеский эсминец по правому борту. И ведь во флоте не служил. Вообще нигде не служил. А по правому борту у общаги – другая общага, вовсе не вражеская, потому что принадлежит медицинскому институту, а все знают, что в медицинском бездна красивых девушек. То вдруг начнет стулья составлять, требовать матрас и подушку – пока наконец ему не объяснят, что они в пивной – в пивной, а не в гостях у Женечки, – и стулья лучше возвратить за соседний столик, пока хозяйка не вернулись.

В тот вечер приключилась первая Митина пьянка в общежитии геофака. Приключилась после драки на дискотеке. Местные пришли бить приезжих студентов. Обычай был такой у местных. Митя, конечно, оказался в эпицентре: гвалт, топот и мелькающие кулаки в различных ракурсах. Двоим он успел съездить, но не сильно, только раззадорил их. Они оказались мастерами диско-битв. Один обхватил его, прижав руки к туловищу, другой принялся лупить, куда мог попасть. Его спасла Люся. Повисла на летевшем к его физиономии кулаке, стала называть какие-то клички и фамилии и так безапелляционно крыть всех матом, что его отпустили. Люся вывела его на улицу. Когда разъехались милицейские «бобики», увозя, как заведено, самых побитых, все перезнакомились и пошли пить в общагу, в боевую 201-ю комнату.

– Люсь, – спросил по дороге Митя, в котором любопытство одолело стыд. – Что за имена ты им называла?

– Да бандюков наших ростовских, – спокойно ответила Люся. – Сказала, что любой из них за тебя подпишется, потому что ты Кроту Северному троюродный брат.

– Ты что, с бандюками знакома?

– С ума сошел? Ни с одним не знакома. Но про всех все знаю. Ты бы постоял пару раз на нашей кухне, тоже знал бы.

...Гитара, будто провинившаяся, стояла в углу. Сигаретный дым лежал над столом перевернутым белым барханом. Догорала и нервно щелкала свеча в консервной банке. Сидели, свинцово свесив головы. Из девушек была одна Люся. Закинув руку ему на плечо, придвину-

лась так близко, что Митя слышал ее разгоряченное алкоголем дыхание. Она качала ногой под столом, и эти колебания, как волны, держали его на плаву.

Молчание было непреодолимо, как тупик. Кончилась водка. Проблема была даже не в том, что кончилась. Через дорогу от общаги частный сектор, а там самогонные бабушки. Постучи, сунь денежку в окошко – и получи продукт. Проблема была в том, что водка и деньги кончились одновременно. Докуривали последние сигареты.

И вдруг Пижняк с химфака поднялся с распахнутой во всю ширь улыбкой.

– Эврика! – прошептал он.

Убежал и скоро вернулся с бутылкой.

– Вспомнил, – сказал Пижняк. – Как я мог забыть? – и потрогал вздувшийся налево подбородок.

Бутылка из-под «Нарзана», закупоренная свернутой в жгут газеткой. Для нее весело расчистили место, смахнув окурки и рыбы скелеты на пол. Разлили и опрокинули. И Митя содрогнулся, будто раскусил керосиновую лампу, – так сильно отдавал керосином этот самогон. Желудок ойкнул, метнулся вниз, в сторону и застрял в районе лопаток. «Неужели из керосина гонят???» Закуски не оказалось, из остатков «оливье», наспех приготовленного Люсей, торчали «бычки» «Родопи».

– Чуча, мать твою, ты зачем свой «Родопи» в «оливье» тушил?

Но Чуча спал, уставившись в потолок малиновыми синяками. Его растолкали.

– Ты зачем «бычки» в «оливье» накидал?

Он вдруг вскочил, тараща оплывшие глаза, и, схватив себя одновременно между ног и за горло, выскочил вон.

– Ты куда?

Кто-то нашел редиску. Аккуратно поделили на ломтики.

– Ну, между первой и второй...

Вторую Митя вылил в кадку с фикусом. Фикус по ночам потихоньку приносили из холла, когда засыпала вахтерша. Он стоял там до тех пор, пока за ним не приходила товарищ Гвоздь, комендантша общежития. Через некоторое время, при очередном благоприятном стечении обстоятельств фикус снова возвращался в 201-ю комнату.

– Ну...

Третью – в трехлитровую банку, служившую пепельницей. Пижняк почему-то тоже не выпил, а держал рюмку в поднятой руке и внимательно ее рассматривал. И вдруг так же неожиданно сказал:

– А! Да я перепутал. Дай-ка...

Он поставил рюмку, взял бутылку, приблизил к самому лицу.

– Ну да. Самогон был в «Колокольчике», а это «Нарзан». Перепутал. Еще сомневался...

Щас принесу.

Он вышел за дверь, но тут же вернулся, забрал бутылку.

– Керосин мне нужен, на практикуме сказали принести немного.

Дверь не успела закрыться, как тут же распахнулась снова. Темный силуэт появился в проеме.

– Это не ваш товарищ в туалете спит? – сказал силуэт, зевнул и добавил: – Сигаретой не угостите?

Не угостили. Кто станет раздавать сигареты каким-то темным силуэтам? За Чучей снарядилась целая экспедиция. Пошел и Митя, а с ним Люся. Никто не воспротивился. Люся в любой компании была своим парнем.

Чуча спал, закинув локоть на краешек унитаза, ушами красен, а ногами бос. Грудь его была покрыта жеваным горошком, длинные тощие ноги вытянулись до противоположных кабинок.левой рукой он по-прежнему держал себя за причинное место.

– Эй! Вставай! Вставай! – Он не реагировал и очнулся лишь тогда, когда в унитазе, на котором он спал, спустили воду. Струя из бачка, шипя и выскакивая наружу, окропила его, он встrepенулся, стремительно вскочил на ноги и выбежал из туалета. – Ты куда?!

Худосочная Чучина фигура, петляя и размахивая одной рукой, неслась по коридору. Он влетел в какую-то комнату в дальнем конце – увы, она оказалась не заперта, – и через несколько секунд оттуда раздался пронзительный девичий визг.

В тот вечер перепутал не только Пижняк. Чуча тоже перепутал. Он помнил, что в туалет – до конца коридора и направо. Его разбудили, не опорожненный мочевой пузырь давит на глаза... Он и кинулся – прямо по коридору и направо. Вбежал в комнату с расстегнутыми штанами, разбуженные вероломным вторжением девушки не успели его остановить. За кабинку он принял двустворчатый платяной шкаф.

Глава 4

Тесная «дежурка», словно коллективный панцирь, давно приросла к каждому, стала продолжением спины, коробочкой для мозга. Удивительным образом, сидя в ней, можно было часами думать о вещах, не выходящих за пределы этих пяти квадратных метров. Пяти пыльных квадратных метров, наполненных резиновыми палками, рациями, журналами сдачи и приема оружия, порножурналами, дочерна пропитанными ружейным маслом тряпицами. Митя больше не боролся с этим, как когда-то в армии. Теперь это ни к чему. Охрана коммерческого банка оказалась все той же казармой. Казарма оказалась лучшим в мире лекарством от непрошенных мыслей.

- Слышь, вали, иди на вход, твое время.
- Да ну на ...! Еще пять минут.
- Часы свои выброси на ...! Ровно два уже.

«Дежурка» насквозь пропахла мужиками. Потееющими за работой мужиками. Они сами насквозь пропахли «дежуркой». Самые заносчивые, вроде начальницы валютного отдела, сталкиваясь с ними в коридорах, не здороваются и воротят нос. Зовут их сторожами. За это они зовут сотрудников банка «банкоматами». Однажды «банкоматы» пожаловались Рызенко. Мол, охранники-то воняют – такие люди в банк приходят, а тут... Юскова, начальника охраны, Рызенко вызывал к себе. Пришлось ему брехать, что «пацаны» постоянно упражняются – подтягиваются на перекладине, поднимают гири, отсюда и запах. «Пацаны» – все и навсегда здесь пацаны. Маленькая собачка до старости шенок. Митя, как и все, не сразу уловил, где его место в банковской иерархии. Впрочем, поначалу было иначе. Вернее, всем очень хотелось, чтобы было иначе. И охранникам, и самим «банкоматам». Время было такое – всем чего-нибудь сильно хотелось, потому что до этого не знали, чего хотеть, и казалось, что самого желанного достаточно, чтобы оно сбылось. Хотелось красиво: чтобы все в дорогой одежде, чтобы друг с другом на «вы». Не вышло. А ведь до сих пор, принимая новичков, Юсков прополаскивает им мозги в розовом отваре: «Работа для настоящих мужчин... ответственность за безопасность... безопасность – дело первостепенной важности... молодой сплоченный коллектив».

- Опять Витю на... послали.
- Да ты что?
- Ну. Он генеральшу не узнал, не пускал ее в банк.
- Памяти у него ник-какой на лица. Мне, например, одного раза хватило.
- Главное, видит же, что за ней полковник идет, дверь ей открывает.

Проржавевшую перекладину во дворе они после того скандала по поводу запахов спилили. Пилили «болгаркой» – шумно, снопы искр летели в окна валютного отдела. Им, конечно, не понравилось такое к себе отношение. «Банкоматы охренели!» Они накупили одеколонов, стали проветривать комнату и следить друг за другом: «А ты, брат, в этих же носках вчера работал». Некоторое время все было галантно. Как когда-то хотелось. Юсков лично обнюхивал их и оставался доволен. Но потом запах казармы вернулся. Одеколоны закончились, менять на каждую смену носки оказалось волокитно. Их больше не трогали. Глаза в сторонку, топ-топ мимо. Сторожа, что с них взять...

- База – сотому!!!

Вова спросонья дернулся так, что стул под ним треснул и сломался. Смеяться не стали. Слишком он нервный, этот Вова-сапер. Любит рассказывать про свою контузию, на каждой смене хоть раз любит с кем-нибудь поругаться. Носит в кармане фотографию жены топлес. Показывает: «Видал такое? Шестой номер!»

- База – сотому!
- База на приеме.

– Встречайте.

– Понял тебя, сотый. Встречаем.

Вова снял ноги со стола и встал. На одном из мониторов остался след обувного крема – повод для взбучки со стороны Юскова. Но никто не вытрет – запахло. Лицо у Вовы опухло, левая щека, на которой он лежал, вся была в розово-белых складках. Он стоял, щурясь и сопя, и поправлял съехавшую на сторону кобуру. Толик незаметно подмигнул Мите – мол, сейчас выпрется в таком виде Мишу встречать. Была очередь Вовы-сапера встречать на входе Рызенко. Конечно, не стоило выползать навстречу Рызенко, как крот из норки. Толик раз десять ему повторял: не спи, скоро Миша приедет.

– Я схожу, – сказал Митя. – Будешь должен.

– Угу, – отозвался Вова и тут же плюхнулся на место.

Ничего трудного в том, чтобы постоять у входа, держа руку на кобуре и зорко оглядывая окрестность, нет. Но дело не в этом. Нельзя нарушать правила. Никогда ни за кого ничего не делай – главное правило казармы. Может быть, в валютном отделе правила другие? Но это сомнительно. Судя по тем обрывкам ссор, что можно услышать, проходя мимо валютного отдела, правила те же. Иначе разве выясняли бы там, в чьих обязанностях идти врать клиенту по поводу задержки его перечислений: «Ты что тут, козла отпущения нашел? Мне твою работу делать?» У кассы Митя замедлил шаг, наклонился к щели между барьером и зеркальным стеклом.

– Едет, – бросил он.

В ту же секунду в кассе по направлению к двери застрочили каблук. Утром Рызенко взял в кассе деньги. Три тысячи евро. Не оказалось наличности в кармане, срочно была нужна. В этом есть шик – как он прибегает к кассе, как, наклонившись к барьеру, говорит: «Девчат, денег дайте». Девчата хихикают: «Сколько вам, Михаил Юрьевич?» Он частенько так делает. Уедет, вернется через час. «Возьмите, я вам, кажется, должен». Девчата снова хихикают. Но сегодня вышла накладка. Скоро вечер, кассу сводить, а валюты в кассе не хватает. Забыл, наверное. Девчата в кассе волнуются, не хотят засиживаться допоздна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.